

1910

Зрители цепенеют, когда мимо проезжает поезд.

«Если он задаёт мне вопросы». Это «ё», отделенное от фразы, улетает, как мяч на лугу.

Его серьезность меня убивает. Голова зажата в воротничке, волосы недвижно уложены на черепе, мускулы внизу щек затвердели на своем месте.

Лес все еще здесь? Лес все еще был почти что здесь. Но едва мой взгляд устремился дальше шагов на десять, я упустил его из виду, снова втянутый в скучный разговор.

В темном лесу, на размякшей почве я мог ориентироваться лишь благодаря белизне его воротничка.

Во сне я просил танцовщицу Эдуардову, чтобы она еще раз станцевала чардаш. На ее лице между нижним краем лба и серединой подбородка – широкая полоса тени или света. Как раз в этот момент пришел кто-то с отвратительными ужимками бессознательного интригана, чтобы сказать ей, что поезд сейчас отправляется. По выражению, с каким она слушала это сообщение, я с ужасом понял, что она не будет больше танцевать. «Я злая, скверная баба, не правда ли?» – сказала она. «О нет, – сказал я, – вовсе нет», – и повернулся наугад к выходу.

Перед этим я расспрашивал ее о цветах, торчавших за ее поясом. «Они от всех государей Европы», – сказала она. Я раздумывал, какой смысл заключен в том, что эти свежие цветы, торчащие за поясом, были подарены танцовщице Эдуардовой всеми государями Европы.

Танцовщица Эдуардова, любительница музыки, всюду, в том числе и в трамвае, ездит в сопровождении двух скрипачей, которых она часто просит играть. Ведь запрета не существует, так почему бы в трамвае не играть, раз игра хороша, нравится пассажирам и ничего не стоит, то есть если после окончания не производят сбора денег. Правда, поначалу это немножко ошарашивает, и некоторое время каждый считает, что это неуместно. Но на полном ходу, при хорошем сквозняке и на тихой улице звучит приятно.

Танцовщица Эдуардова на открытом воздухе не так красива, как на сцене. Эта бледность, эти скулы, так натягивающие кожу, что на лице едва отражается какое-нибудь движение, выступающий, словно из углубления, большой нос, с которым не пошутишь – не попробуешь кончик на твердость или не ухватишь спинку носа и не повернешь туда-сюда, говоря: «А теперь ты пойдешь со мной». Широкая фигура с высокой талией в слишком складчатых юбках – кому это может понравиться? – она похожа на одну из моих теток, пожилую даму, многие пожилые тетки многих людей выглядят похоже. На открытом воздухе эти изъяны не компенсируются у Эдуардовой, собственно говоря, ничем, кроме весьма недурных ног, в ней действительно нет ничего, что давало бы повод к восторгам, удивлению или хотя бы просто вниманию. И потому я очень часто видел, как даже обычно очень обходительные, очень корректные господа при всем старании не могли скрыть своего равнодушия по отношению к Эдуардовой, такой известной танцовщице, каковой она все-таки являлась.

Моя ушная раковина на ощупь свежа, шершава, прохладна, сочна – как лист.

Я совершенно определенно пишу это из-за отчаяния по поводу моего тела, по поводу будущего этого тела.

Но если отчаяние выступает так определенно, если оно так неотрывно от своего объекта, так удерживается, словно солдат, прикрывающий отступление и разрываемый за это в клочья, тогда это не отчаяние. Подлинное отчаяние сразу достигает своей цели и всегда обгоняет ее, (при этой запятой выявляется, что только первая фраза верна)

Ты в отчаянии?

Да? В отчаянии?

Убегаешь? Хочешь спрятаться?

Я прохожу мимо борделя, как мимо дома возлюбленной.

Писатели мелют вонючий вздор.

Белошвейки в потоках дождя.

Из окна купе

Наконец-то после пяти месяцев жизни, в течение которых я не смог написать ничего такого, чем был бы доволен, и которые никто и ничто не в силах мне возместить, хотя все обязаны бы это сделать, я надумал снова поговорить с самим собой. На это я еще способен, если действительно задаюсь такой целью, здесь еще можно что-то выбить из той копыны соломы, в которую я превратился за эти пять месяцев и судьба которой, кажется, в том, чтобы летом ее подожгли и она сгорела быстрее, чем зритель успеет моргнуть глазом. Пускай бы это случилось со мной! И пусть хоть десять раз случится – я ведь не сожалею о времени, даже злополучном. Мое состояние – не состояние «несчастья», но это и не счастье, не равнодушие, не слабость, не усталость, не интерес к чему-то – тогда что же оно такое? То обстоятельство, что я не знаю этого, связано, вероятно, с моей неспособностью писать. А ее я, кажется, ощущаю, не зная причины. Все вещи, возникающие у меня в голове, растут не из корней своих, а откуда-то с середины. Попробуй-ка удержать их, попробуй-ка держать траву и самому держаться за нее, если она начинает расти лишь с середины стебля. Пожалуй, кое-кто это умеет, например, японские акробаты, взбирающиеся по лестнице, которая стоит не на земле, а на поднятых вверх ступнях полулежащего человека и не прислонена к стене, а вздымается вверх прямо в воздух. Я этого не умею, не говоря уж о том, что под моей лестницей нет даже тех

ступней. Конечно, это еще не все, и такая задача еще не заставит меня заговорить. Но каждый день на меня должна быть направлена по меньшей мере одна строка, как направляют теперь подзорные трубы на кометы. И еще – я должен оказаться перед настоящей фразой, захваченный этой фразой, как то случилось со мною, например, в последнее Рождество, когда дело дошло до того, что я едва мог владеть собой, и когда, казалось, я действительно был на последней ступеньке своей лестницы, которая, правда, спокойно стояла на земле у стены. Но что за земля, что за стена! И все же та лестница не упала – так прижимали ее к стене мои ноги, так держали ее мои ноги на земле.

Сегодня, например, я совершил три дерзости – по отношению к кондуктору, по отношению к одному из моих начальников: так, их только две, но они мучают меня, словно боль в желудке. Они были бы дерзостью со стороны любого человека, тем более с моей. Итак, я вышел из себя, сражался в воздухе, в тумане, и вот что самое скверное: никто не заметил, что я и по отношению к моим спутникам совершил дерзость, сделал, должен был сделать именно как дерзость настоящую гримасу, за которую необходимо нести ответственность; но самое скверное, что один из моих знакомых воспринял мою дерзость не как черту характера, а как самый характер, обратил мое внимание на эту дерзость и восхитился ею. Почему я вышел из себя? Теперь я, правда, говорю себе: смотри, мир позволяет тебе бить его, кондуктор и начальник остались спокойными, когда ты выходил, начальник даже поклонился. Однако это ничего не значит. Ты не можешь ничего достичь, выходя из себя. Но что еще ты потеряешь, оставаясь в очерченном тобой круге? На это я отвечу следующее: я лучше позволю избивать себя в этом круге, чем самому избивать кого-то вне его. Но где, черт возьми, этот круг? Некоторое время я видел его на полу словно мелом нарисованным, теперь же он лишь витает вокруг меня, да и не витает даже.

Ночь кометы, 17/18 мая. Был вместе с Бляйем, его женой и ребенком, временами слышал себя снаружи, как поскуливание котенка, вскользь, но тем не менее.

Сколько дней опять прошли безмолвно; сегодня 29 МАЯ. Разве нет у меня хотя бы решимости брать каждый день в руки эту ручку, этот кусочек дерева? Да, я думаю, у меня ее нет. Я гребу, езжу верхом, плаваю, загораю. Поэтому икры хороши, бедра неплохи, живот куда ни шло, а вот грудь очень убога, и если голова в затылке у меня.

19 ИЮНЯ. Воскресенье. Спал, проснулся, спал, проснулся, жалкая жизнь.

Если подумаю, то должен сказать, что мое воспитание во многом мне очень повредило. Я ведь воспитывался не где-то на обочине, не в каких-нибудь руинах в горах, против этого я не мог бы сказать ни слова упрека.

Опасаясь, что весь ряд моих прошлых учителей не сможет этого понять, но охотнее всего и с удовольствием я был бы маленьким обитателем руин, обожженным солнцем, которое со всех сторон светило бы между развалинами на безучастный плюц, пусть вначале я был бы слаб под грузом моих добрых качеств, которые буйно, как мощные сорняки, разрослись бы во мне.

Если подумаю, то должен сказать, что мое воспитание во многом мне очень повредило. Этот упрек касается многих людей, а именно – моих родителей, кое-кого из родственников, отдельных посетителей нашего дома, различных писателей, совершенно определенной кухарки, которая целый год водила меня в школу, кучи учителей (которых я должен в воспоминаниях тесно сгрудить, иначе то один, то другой отвалится, но, поскольку я их так сгрудил, целое опять-таки местами крошится), некоего школьного инспектора, медленно движущихся пешеходов, короче говоря, этот упрек всажен, как кинжал, во все общество, и никто – повторяю: к сожалению, – никто не уверен, что острое кинжала не вылезет вдруг спереди, или сзади, или сбоку. И никаких возражений на этот упрек я не желаю слушать, ибо слишком много я их уже слышал, и так как в большинстве возражений я был опять-таки опровергнут, то и эти возражения я включаю в свой упрек и ныне заявляю, что мое воспитание и это опровержение во многом мне очень повредили.

Я часто думаю об этом и каждый раз прихожу к выводу, что мое воспитание мне во многом очень повредило. Этот упрек относится ко множеству людей, правда, они стоят здесь рядом и, как на старых групповых портретах, не знают, что им делать: опустить глаза им не приходит в голову, а улыбнуться они от напряженного ожидания не решаются. Здесь мои родители, кое-кто из родственников, из учителей, кухарка, которую я запомнил, некоторые девушки из школы танцев, некоторые посетители нашего дома прежних времен, некоторые писатели, преподаватель плавания, билетер, школьный инспектор, затем люди, которых я лишь однажды встречал на улице, и какие-то еще, которых я сейчас не могу припомнить, и такие, которых никогда больше не вспомню, и, наконец, такие, на уроки которых я, чем-то отвлекшись тогда, вообще не обратил внимания, – короче, их так много, что надо следить, как бы не упомянуть дважды одного и того же. И к ним всем я обращаю свой упрек, знакомя их тем самым друг с другом и никаких возражений не приемлю. Ибо воистину я уже слышал их предостаточно, и, так как большинство этих возражений я не сумел оспорить, мне ничего другого не остается, как включить их в счет и сказать, что, как и мое воспитание, эти возражения тоже во многом очень повредили мне.

Может быть, подумают, будто я воспитывался где-то в глуши? Нет, я воспитывался в городе, в самом центре города. Не в руинах, к примеру, не в горах и не на берегу озера. Мои родители и их присные до сих пор были хмуры и серы из-за моего упрека, но вот они легко отстранили его и улыбаются, потому что я снял с них мои руки и приложил их ко лбу и думаю: мне бы быть маленьким обитателем руин, вслушивающимся в гомон галок, осененным их тенью, освежающимся под холодной луной, – пусть вначале я и был бы чуть слаб под грузом добрых качеств, которые должны были бы буйно, как сорная трава, разрастись во мне, обожженном солнцем, сквозь развалины пробивающимся со всех сторон и светящим на мое свитое из плюца ложе.

Я часто думаю об этом и предоставляю мыслям идти своим путем, не вмешиваясь, но как бы я их ни поворачивал, прихожу к выводу, что мое воспитание во многом мне страшно повредило. В этом признании заключен упрек по отношению к целому ряду людей. Здесь родители с родственниками, совершенно определенная кухарка, учителя, некоторые писатели, дружественные семьи, некий учитель плавания, уроженцы курортных мест, некоторые дамы в городском парке, по виду которых этого не скажешь, некий парикмахер, некая нищенка, некий штурман, домашний врач и еще многие другие, и их было бы еще больше, если бы я захотел и смог назвать их по имени, – короче, их так много, что надо следить, как бы не назвать в этой толпе кого-нибудь дважды. Может показаться, что уже из-за само этого множества упрек теряет в твердости, да он и должен ее, собственно, терять, ибо упрек – не военачальник, он шагает лишь напрямик и не умеет дробиться. Даже в этом случае, раз он направлен против ушедших людей. Эти люди желали бы со всей забытой энергией остаться в памяти, но почву под ногами они вряд ли сохраняют, сами ноги их – уже дым улетучившийся. И можно ли людей вот в таком состоянии сколько-нибудь успешно упрекать теперь за ошибки, совершенные ими когда-то, в прежние времена, при воспитании

камена, они не о чем не могут вспомнить, а если насесть на них, они молча оттеснят тебя в сторону, никто не в силах их принудить, но о принуждении, очевидно, и говорить нечего, ибо, скорее всего, они и не слышат слов. Они стоят, как усталые собаки, ибо всю свою силу они потратили на то, чтобы остаться в памяти. Но если бы действительно удалось заставить их слушать и говорить, тогда в ушах звенело бы от их контрпреков, ибо люди ведь берут с собой в потусторонний мир убежденность в безупречности мертвых и защищают ее оттуда с удесятенной силой. И если это мнение, возможно, было бы неправильным и мертвые имели бы особенно большое уважение к живым, тогда они тем более заступились бы за свое живое прошлое, которое им ближе всего, и снова у нас звенело бы в ушах. А если и это мнение было бы неправильным и мертвые были бы как раз очень объективны, то и тогда они ни за что не могли бы согласиться, чтобы их тревожили недоказуемыми упреками. Подобные упреки человека человеку недоказуемы. Нельзя доказать ни наличия прошлых ошибок в воспитании, ни их авторства. Вот и предъяви тут упрек, который в такой ситуации не обратился бы во вздох.

Таков и упрек, который я имею предъявить. У него здоровое нутро, теория его поддерживает. То, что действительно во мне испорчено, я пока забуду или прошу и не стану поднимать шума. Зато я могу в любой момент доказать, что мое воспитание было направлено на то, чтобы сделать из меня другого человека, а не того, каким я стал. Так что вред, который мне могли бы причинить мои воспитатели своими намерениями, этот вред я ставлю им в упрек, я требую из их рук человека, каким я сейчас являюсь, и, поскольку дать мне его они не могут, я подниму из упрека и смеха такой барабанный шум, что он достигнет потустороннего мира. Однако все это лишь служит для другой цели. Упрек по поводу того, что они все же испортили часть меня, добрую часть меня они испортили – во сне она порой мне является, как иным является мертвая невеста, – этот упрек, который всегда готов вот-вот превратиться во вздох, именно он пусть невредимым перейдет по ту сторону как честный упрек, каков он и есть. На самом деле так и получается, что большой упрек, с которым ничего не может случиться, берет маленький за руку, – большой идет, маленький припрыгивает, но, как только маленький попадет на ту сторону, он сразу же дает о себе знать, как мы всегда этого и ожидали, он трубит в трубу, будто по барабану барабанит.

Часто я думаю об этом и предоставляю мыслям идти своим путем, не вмешиваясь, но всегда прихожу к выводу, что мое воспитание испортило меня больше, чем я могу это понять. По внешнему виду я человек как человек, ибо мое телесное воспитание придерживается обычного так же, как обычным было мое тело, и если я маловат и толстоват, то все же нравлюсь многим, в том числе и девушкам. Тут сказать нечего. Еще недавно одна из них сказала нечто очень разумное. «Ах, увидеть бы мне вас голым, то-то вы должны быть красивы и вызывать желание поцеловать», – сказала она. Но если бы у меня не хватало тут верхней губы, там ушной раковины, здесь ребра, там пальца, если бы были на голове безволосые пятна, а на лице оспины, это бы еще не было достаточным подобием моего внутреннего несовершенства. Это несовершенство не врожденное, и потому оно тем более болезненно. Ибо, как и всякий человек, я от рождения тоже имею свой центр тяжести, который даже дурацкое воспитание не в силах сместить. Но к этому хорошему центру тяжести у меня в известной мере нет больше соответствующего тела. А центр тяжести, которому нечего делать, становится свинцом и торчит в теле, как ружейная пуля. Но несовершенство это тоже не заслужено, оно возникло без моей вины. Потому я и не нахожу в себе ни капли раскаяния, сколько бы ни искал. Ибо раскаяние пошло бы мне на пользу, оно само в себе выплакивается; оно отодвигает боль в сторону и всякое дело завершает само, как поединок; мы остаемся на своих ногах благодаря тому, что оно нас облегчает.

Мое несовершенство, как я сказал, не врожденное, не заслуженное, и тем не менее я переношу его лучше, чем с большим напряжением фантазии и отборными вспомогательными средствами другие переносят куда меньшие несчастья, например, отвратительную жену, бедность, жалкие профессии, и при этом мое лицо отнюдь не черно от отчаяния, оно белое и красное.

Я не был бы таким, если бы мое воспитание проникло в меня так глубоко, как оно того хотело. Возможно, моя юность была для этого слишком коротка, в таком случае я еще и сейчас, в мои сороковые годы, всем сердцем славлю эту краткость. Только это и дало мне возможность сохранить силы, чтобы осознать потери своей юности, далее, чтобы перенести эти потери, далее, чтобы направить во все стороны упреки и, наконец, оставить часть сил для самого себя. Но все эти силы опять-таки остаточная часть тех сил, какими я владел в детстве и которые отдали меня больше, чем других, во власть губителям юности, ибо доброму гонимому автомобилю достается больше пыли и ветра, и навстречу его колесам препятствия летят с такой стремительностью, что можно почти поверить, будто это любовь.

Отчетливее всего моя нынешняя сущность раскрывается в той силе, с какой упреки рвутся из меня. Бывали времена, когда во мне не было ничего, кроме подстегиваемых гневом упреков, так что при вполне благополучном физическом состоянии я вынужден был на улице держаться за чужих людей, ибо упреки во мне кидались из стороны в сторону, как вода в тазу, который слишком быстро несут.

Эти времена прошли. Упреки лежат во мне разбросанно, как чужие инструменты, взять и поднять которые у меня едва хватает мужества. При этом погибельность моего старого воспитания начинает все больше и больше заново влиять на меня, страсть к воспоминаниям – возможно, это общее свойство холостяков моего возраста – снова раскрывает мое сердце для тех людей, которых мои упреки должны побивать, и происшествие, подобное вчерашнему, прежде случавшееся столь же часто, как еда, теперь бывает так редко, что я это записываю.

Но, сверх того, я сам, тот, кто сейчас откладывает перо, чтобы открыть окно, возможно, я и есть наилучшее вспомогательное средство моих нападающих. Я недооцениваю себя, а это уже означает переоценку других, но я переоцениваю их, и, помимо того и несмотря на это, я причиняю себе вред еще и напрямик. Когда меня захлестывает страсть к упрекам, я смотрю из окна. Никто не станет отрицать, что там сидят в своих лодках рыболовы, как школьники, которых вывели из школы к реке; ладно, их неподвижность зачастую непонятна, как неподвижность мух на оконном стекле. И по мосту идут, разумеется, трамваи, как всегда, с огрубленным шумом ветра и звонят, как испорченные часы, нет сомнения, что полицейский, черный снизу доверху, с желто светящейся медалью на груди, ни о чем другом не напоминает, кроме как об аде, и теперь, думая примерно то же, что и я, наблюдает за рыболовом, который внезапно – то ли он плачет, то ли у него видение, или дергается поплавок – наклоняется к борту лодки. Все это правильно, но для своего времени, теперь же правильны только упреки.

Они направлены против множества людей, это может прямо-таки испугать, и не только я, но и всякий другой лучше уж станет глядеть из открытого окна на реку. Здесь родители и родственники, и то, что они вредили мне из любви ко мне, лишь увеличивает их вину, ведь как сильно они могли бы из любви ко мне помочь, затем дружественные семьи со злым взглядом, от сознания вины они тяжелеют и не хотят подняться в воспоминания, затем куча нянь, учитель и писатель и среди них одна совершенно определенная кухарка, затем в наказание

проходящие друг в друга домашний врач, парикмахер, штурман, ищущка, продавец бумаги, парковый сторож, учитель плавания, затем чужие дамы из городского сада, по виду которых этого никак нельзя было бы сказать, уроженцы дачных мест как насмешка над неповинной природой и многие другие; их было бы еще больше, если бы я захотел и смог назвать их по имени, – короче, их так много, что надо следить, как бы не назвать кого-нибудь дважды.

Я думаю часто и предоставляю мыслям идти своим ходом, не вмешиваясь, но всегда прихожу к одному и тому же выводу, что воспитание испортило меня больше, чем все люди, которых я знаю, и больше, чем я сам постигаю. Но говорить об этом я могу лишь время от времени, ибо если меня спрашивают: «В самом деле? Возможно ли это? Трудно поверить!» – я сразу же из нервного страха пытаюсь это преуменьшить.

Внешне я выгляжу, как другие; у меня есть ноги, туловище и голова, брюки, пиджак, шляпа; меня заставляли как следует заниматься гимнастикой, и если я, несмотря на это, маловат ростом и слаб, то, значит, это было неизбежно. В остальном же я многим нравлюсь, даже молодым девушкам, а те, кому я не нравлюсь, находят меня все же сносным.

Рассказывают, и мы склонны этому верить, что мужчины в опасности нисколько не считаются даже с красивыми чужими женщинами; если эти женщины мешают им бежать из горящего театра, они отшвыривают их к стене, бодают головой, толкают руками, коленями, локтями. И тогда наши болтливые женщины молчат, их бесконечные речи обрываются точкой на глаголе, брови утрачивают покой, бедра и ляжки теряют дыхательный ритм движения, в полуоткрытый от страха рот втекает больше воздуха, чем обычно, и щеки кажутся немного вздутыми.

Санд: французы все – комедианты; но лишь самые слабые из них играют комедию.

Клакеры во французских театрах: повелители сидят в партере. Гакают для ближних, роняют газеты для галерочников.

Колотушка извещает о начале

6 НОЯБРЯ. Вечер некой мадам Шеню, посвященный Мюссе. Привычка евреек чмокать, понимание французского посредством всяких подходов и сложностей анекдота, пока перед самым заключительным словом, покоящимся на руинах этого анекдота, французский на наших глазах не потухает, – может быть, мы слишком сильно все время напрягались, люди же, понимающие французский, уходят, не дожидаясь конца, потому что они уже достаточно услышали, другие услышали еще далеко не достаточно, акустика зала, более благосклонная к кашляню в ложах, чем к слову выступающего; ужин у Рашели, она читает Расина: «Федра» с Мюссе, книга лежит между ними на столе, на котором, кстати, лежит всякая всячина. Консул Клодель, блеск его глаз заливают широкое лицо и с лица отсвечивает, он все время хочет попроситься, по отдельности ему это удается, но в целом нет, ибо когда он прощается с одним, рядом уже стоит другой, а к нему опять присоединяется тот, с кем прощались. Над подмостками для доклада – галерея для оркестра. Мешают всякие шумы. Кельнеры из вестибюля, гости в комнатах, рояль, отдаленный струнный оркестр, громкие стуки, наконец, ссора, локализация которой доставляет большие трудности и потому привлекает внимание. В одной ложе дама с бриллиантами в серьгах, их блеск почти непрерывно меняется. У кассы молодые, одетые в черное люди из какого-то французского кружка. Один из них приветствует с таким низким поклоном, что глаза его скользят по полу. При этом он широко улыбается. Но так он делает только перед девушками, мужчинам он сразу затем открыто смотрит в лицо со строго сомкнутым ртом, тем самым одновременно обозначая предыдущее приветствие как смешноватую, но обязательную церемонию.

7 НОЯБРЯ. Доклад Биглера о Геббеле. Сидит на сцене с декорациями современной комнаты, словно из какой-нибудь двери выскочит его возлюбленная, чтобы начать наконец пьесу. Нет, он делает доклад. Голодание Геббеля. Сложное отношение к Элизе Ленсинг. В школе у него учительницей старая дева, она курит, сморкается, бьет, а послушных одаривает изюмом. Он всюду ездит (Гейдельберг, Мюнхен, Париж) без определенной цели. Сперва он служка у церковного зрителя, спит под лестницей в одной кровати с кучером.

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд по рисунку Ф. Оливье, он рисует на склоне; как красив и серьезен он здесь (высокая шляпа, как сплюснутый клоунский колпак, с тугими, надвинутыми на лоб узкими полями, волнистые, длинные волосы, глаза направлены лишь на картину, спокойные руки, доска на коленях, одна нога чуть глубже скользнула на откос).

Но нет, это Оливье, нарисованный Шнорром.

15 НОЯБРЯ, 10 ЧАСОВ. Я не позволю себя утомить. Я в прыгну в свою новеллу, даже если это искромсает мне лицо.

16 НОЯБРЯ, 12 ЧАСОВ. Читаю Гете «Ифигению в Тавриде». За исключением отдельных явно неудачных мест, там вызывает настоящее восхищение высушенный немецкий язык в устах чистого мальчика. Каждое слово стиха в момент чтения поднимается читающим ввысь, где оно и стоит в скудном, может быть, но пронизывающем свете.

27 НОЯБРЯ. Бернхард Келлерман читал вслух. «Кое-что неопубликованное из моих сочинений» – так он начал. По-видимому, милый человек; почти седые, торчком стоящие волосы, старательно, чисто выбрит, острый нос, желваки перекатываются, как волны, на скулах. Писатель он посредственный, хотя есть хорошо написанные куски (какой-то мужчина выходит в коридор, кашляет и оглядывается, нет ли здесь кого-нибудь); честный человек, он хочет прочитать то, что пообещал, но публика не дает, испугавшись первого рассказа о психиатрической лечебнице: из-за скуки, навеваемой манерой чтения, слушатели, несмотря на известную занимательность рассказа, все время поодиночке выходят с такой ретивостью, будто по соседству читают что-то другое. Когда он, прочитав треть рассказа, остановился, чтобы выпить минеральной воды, ушло уже много народа. Он испугался. «Скоро конец», – просто соврал он. Когда он закончил, все встали, раздались аплодисменты, прозвучавшие так, словно все поднялись, а один остался сидеть и аплодировал для собственного удовольствия. Келлерман хотел читать дальше – еще один рассказ или даже несколько. Увидев, что все уходит, он только рот раскрыл. Наконец, по чьему-то совету, он сказал: «Я хотел бы еще прочитать небольшую сказку, это займет всего пятнадцать минут. Сделаем пятиминутный перерыв». Кое-кто остался, и он прочитал сказку, вполне дававшую слушателям право бежать через зал чуть ли не по головам соседей к выходу.

15 ДЕКАБРЯ. Своими выводами моего нынешнего, уже почти год длящегося состояния я просто не верю – для этого мое состояние слишком серьезно. Я даже не знаю, могу ли сказать, что это состояние не новое. Во всяком случае, я думаю: состояние это ново, подобные у меня бывали, но такое – еще никогда. Я словно из камня, я словно надгробный памятник себе, нет даже щелки для сомнения или веры, для любви или отвращения, для отваги или страха перед чем-то определенным или вообще, – живет лишь шаткая надежда, бесплодная, как надписи на надгробиях. Почти ни одно слово, что я пишу, не сочетается с другим, я слышу, как согласные с металлическим лягом трутся друг о друга, а гласные подпевают им, как негры на подмостках. Сомнения кольцом окружают каждое слово, я вижу их раньше, чем само слово, – да что я говорю! – я вообще не вижу слова, я выдумываю его. Но это еще было бы не самым большим несчастьем, если бы я мог выдумывать слова, которые развеяли бы трупный запах, чтобы он не ударял снизу в нос мне и читателю.

Когда я сажусь за письменный стол, то чувствую себя не лучше человека, падающего и ломающего себе обе ноги в потоке транспорта на Place de l'Орега. Все экипажи тихо, несмотря на производимый ими шум, устремляются со всех сторон во все стороны, но порядок, лучший, чем его мог бы навести полицейский, устанавливает боль этого человека, которая закрывает ему глаза и опустошает площадь и улицы, не поворачивая машин обратно. Полнота жизни причиняет ему боль, ибо он ведь тормозит движение, но и пустота не менее мучительна, ибо она отдает его во власть боли.

16 ДЕКАБРЯ. Я больше не брошу дневника. Я должен сохранить себя здесь, ибо только здесь это и удастся мне.

Мне так хочется объяснить чувство счастья, которое время от времени, вот как раз сейчас, возникает во мне. Это нечто игристое, целиком наполняющее меня легкой приятной дрожью и внушающее мне способности, в отсутствии которых я с полной уверенностью могу убедиться в любой момент, хоть и сейчас.

Геббель хвалит «Дорожную тень» Юстинуса Кернера. «И такое произведение едва существует, никто его не знает».

«Дорога одиночества» В. Фреда. Как пишутся такие книги? Человек, достигший чего-либо путного в малом, так натужно растягивает свой талант на большой роман, что становится тошно, даже если ты восхищаешься энергией, с какой человек насилует собственный талант.

Зачем это третирование второстепенных персонажей, о которых я читаю в романах, пьесах и т. д. Какое чувство близости я испытываю к ним! В «Бишофсбергских девах» (так это называется?) говорится о двух швеях, готовящих белье для невесты. Какова жизнь этих двух девушек? Где они живут? Что они натворили такого, что их не пускают в пьесу? Им лишь дозволено, буквально утопая в потоках ливня, снаружи прижать в последний раз лицо к окошку каюты Ноева ковчега, для того чтобы зрители в партере увидели на мгновение нечто смутное.

17 декабря. На настойчивый вопрос – неужели ничто не покоится? – Зенон ответил: «Да, летящая стрела покоится».

Если бы французы по характеру своему были немцами, как бы тогда восхищались ими немцы!

То, что я так много отложил и повычеркивал – а это я сделал почти со всем, что вообще написал в этом году, – тоже очень мешает мне при писании. Ведь это целая гора, в пять раз больше того, что я вообще когда-либо написал, и уже одной массой своей она прямо из-под пера притягивает к себе все, что я пишу.

18 декабря. Не будь несомненным то обстоятельство, что причина оттягивания момента распечатывания письма (предположительно даже столь незначительного содержания, как только что полученное) заключается лишь в слабости и трусости, заставляющих медлить с распечатанием письма так же, как медлишь открыть дверь комнаты, где кто-то, может быть, уже нетерпеливо тебя дожидается, – тогда это можно было бы еще лучше объяснить основательностью. Если предположить, что я человек основательный, тогда я должен пытаться растягивать все, что касается письма, то есть медленно его открывать, медленно и многожды прочитывать, долго размышлять, подготавливать несколько вариантов ответа, прежде чем переписать его набело, и, наконец, еще помедлить с отправкой. Все это в моей власти, вот только избежать внезапности получения письма нельзя. Но и это я замедляю искусственным образом, долго не открываю письмо, оно лежит предо мною на столе, все время предлагая себя, я все время получаю его, однако не беру в руки.

Эстет

Вечер, половина двенадцатого. То, что я, пока не освобожусь от канцелярии, попросту потерял, это мне яснее ясного, речь только о том, чтобы как можно дольше держать голову кверху, дабы не утонуть. Насколько это будет трудно, сколько сил это из меня вытянет, видно уже по тому, что сегодня я не выдержал своего нового расписания – с 8 до 11 вечера сидеть за письменным столом, и что сейчас я даже не считаю это таким уж большим несчастьем, и что я торопливо записал лишь эти несколько строк прежде, чем лечь в постель.

19 ДЕКАБРЯ. Начал ходить на службу. После обеда был у Макса. Почитал немного дневники Гете. Время уже излило покой на эту жизнь, дневники озаряют ее светом. Ясность всех событий делает их таинственными, так же как парковая ограда при созерцании больших лужаек успокаивает глаз и вместе с тем вселяет в нас преувеличенное почтение.

Только что пришла к нам впервые моя замужняя сестра.

20 ДЕКАБРЯ. Чем оправдаю я вчерашнее замечание о Гете (которое почти столь же неверно, как и отмеченное записью чувство, ибо подлинное было развеяно приходом сестры)? Ничем. Чем оправдаю я то, что сегодня еще ничего не написал? Ничем. Тем более что мое состояние не наихудшее. У меня в ушах все время звучит призыв: «Приди ж, незримый суд!»

Для того чтобы мне наконец дали покой эти фальшивые места, ни за что не желающие убираться из истории, я два из них перепису: «Его вдохи были громкими, как вздохи по поводу сна, в котором несчастье легче перенести, чем в нашем мире, так что простые вдохи уже сами по себе вздохи».

Теперь я окидываю это взглядом с такой же легкостью, с какой окидывают взглядом головоломку, говоря: «Какое это имеет значение,

если я не могу загнать шарик в их лунки, ведь все принадлежит мне, стакан, доска, шарик и что еще тут есть; все это искусство я попросту могу сунуть в карман».

21 ДЕКАБРЯ. Достопримечательности из «Подвигов Великого Александра» Михаила Кузмина: «Ребенок, верхняя половина которого была мертвою, нижняя же – со всеми признаками жизни... младенческий труп с шевелящимися красными ножками». «Нечистых царей, Гогу и Магогу, питавшихся червяками и мухами, загнал в рассевишиеся скалы и до скончания мира запечатал Соломоновою печатью». «Каменные потоки, что вместо воды стремят с грохотом камни, песчаные ручьи, три дня текущие к югу, три дня – на север». «Мужеподобные женщины, с выжженными правыми грудями, короткими волосами, в мужской обуви». «Крокодилы, мочою сжигающие дерево».

Был у Баума, слушал прекрасные вещи. Я слаб, как прежде и всегда. Такое ощущение, будто меня связали, и одновременно другое ощущение, будто, если бы развязали меня, было бы еще хуже.

22 ДЕКАБРЯ. Сегодня я не решаюсь даже делать себе упреки. Прозвучи они в этот пустой день, они имели бы отвратительное эхо.

24 ДЕКАБРЯ. Я сейчас внимательнее осмотрел свой письменный стол и понял, что за ним ничего хорошего не сделать. На нем столько всего лежит и создает беспорядок без какой-либо размеренности и хоть какой-то совместимости неупорядоченных вещей, а она-то обычно и делает всякий беспорядок выносимым. Какой бы ни был беспорядок на зеленом сукне, он может быть и в партере старых театров. Но когда из стоячих мест

25 ДЕКАБРЯ. Из открытого ящика под приставкой к столу вылезают брошюры, старые газеты, каталоги, видовые открытки, письма, частью разорванные, частью открытые, вылезают в форме наружной лестницы – этот непристойный вид портит все. Отдельные относительно большие вещи партера выступают с наивозможной активностью, словно в театре разрешено, чтобы в зрительном зале торговец приводил в порядок свои бухгалтерские книги, плотник плотничал, офицер размахивал саблей, духовник обращался к сердцам, ученый – к разуму, политик – к гражданскому чувству, чтобы влюбленные не сдерживали себя и т. д. Это только на моем письменном столе стоит наготове зеркало для бритья, щетиной вниз лежит одежная щетка, тут же портмоне открыто на тот случай, если придется платить, из связки ключей торчит ключ, готовый приступить к делу, а галстук частично еще обвивает снятый воротничок. Расположенный выше, по бокам зажатый запертыми маленькими выдвигаемыми ящиками, открытый ящик приставки представляет собой не что иное, как чулан, как если бы низкий балкон зрительного зала, по сути, самое видное место театра, был резервирован для вульгарнейших людей, для старых прожигателей жизни, у которых внутренняя грязь постепенно выступает наружу, для грубых парней, болтающих ногами через перила балкона. Семьи с таким количеством детей, что на них бросаешь лишь беглый взгляд, не в силах их сосчитать, разводят здесь всю грязь бедных детских комнат (уже в самый партер протекает), в темном заднике сидят неизлечимые больные, их, к счастью, видно только тогда, когда туда падает свет, и т. д. В этом ящике лежат старые бумаги, которые я давно бы выбросил, имей я корзину для бумаг, карандаши с обломанными остриями, пустая спичечная коробка, пресс-папье из Карлсбада, линейка, ухабистость ребра которой была бы слишком опасна для сельской дороги, множество запонок, тупые лезвия (для них нет места на всем свете), зажимы для галстука и еще одно тяжелое металлическое пресс-папье. В ящике повыше —

Убого, убого, и то это еще слабо сказано. Сейчас полночь, но так как я очень хорошо выспался, то это лишь постольку может служить извинением, поскольку днем я бы вообще ничего не написал. Зажженная лампа, тишина квартиры, тень за окном, последние мгновения бодрствования – они дают мне право писать, будь то даже самое убогое. И я поспешно использую это право. Вот я какой.

26 ДЕКАБРЯ. Два с половиной дня – правда, не полностью – я был один, и вот я уже если и не преобразован, то на пути к тому. Одиночество имеет надо мною никогда не пасующую силу. Мое нутро расслабляется (пока только поверхностно) и готово раскрыться. Во мне начинает устанавливаться маленький порядок, а в этом-то я больше всего и нуждаюсь, ибо при небольших способностях нет ничего хуже, чем беспорядок.

27 ДЕКАБРЯ. У меня нет больше сил написать хоть одну фразу. Да если бы речь шла о словах, если б можно было, прибавив одно слово, отвернуться в спокойном сознании, что это слово целиком наполнено тобою.

Часть послеобеденного времени проспал; когда бодрствовал, я лежал на диване, вспоминал некоторые любовные переживания юношеской поры, с досадой задержался на одной упущенной возможности (я лежал тогда слегка простуженный в постели, и гувернантка читала мне «Крейцерову сонату», наслаждаясь при этом моей возбужденностью), представил себе свой вегетарианский ужин, был доволен своим пищеварением и испытывал опасения, хватит ли света моих глаз на всю мою жизнь.

28 ДЕКАБРЯ. Когда я несколько часов веду себя по-человечески, как сегодня с Максом и позже у Баума, то перед сном уже исполнен высокомерия.

1911

4 ЯНВАРЯ. «Вера и родина» Шёнгерра.

У посетителей галереи подо мной пальцы мокрые от вытирания глаз.

7 ЯНВАРЯ. Сестра Макса так влюблена в своего жениха, что пытается с каждым посетителем поговорить по отдельности, ибо с каждым отдельно можно лучше выговориться о своей любви и повториться.

Словно волшебные силы – ибо ни внешние, ни внутренние обстоятельства, в настоящее время куда более благоприятные, нежели год тому назад, не мешали мне – удерживали меня в течение целого свободного дня (сегодня воскресенье) от того, чтобы писать.

Мне утешительно открылись некоторые новые знания о несчастном создании, каким я являюсь.

12 ЯНВАРЯ. В эти дни я многого не записал о себе, отчасти из лени (я теперь много и крепко сплю днем, во время сна я приобретаю

большой вес), отчасти также из страха выдать свои познания о себе. Этот страх оправдан, ведь самопознание лишь тогда заслуживает быть зафиксированным в записи, когда оно может осуществиться с максимальной полнотой, с пониманием всех, вплоть до второстепенных, последствий, а также с полнейшей правдивостью. Если же оно осуществляется не так, – а я, во всяком случае, так не умею, – тогда записанное по собственному усмотрению, приобретя могущество именно благодаря фиксации, выдает вскользь почувствованное за истинное чувство и ты лишь запоздало осознаешь всю бесполезность записанного.

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ТОМУ НАЗАД – Леони Фриппон, кабаретистка из «Города Вены». Прическа – перехваченная лентой куча локонов. Скверный корсаж, очень поношенное платье, но очень красива в своих трагических движениях, напряженные веки, выразительные движения длинных ног, умелое вытягивание рук вдоль тела, роль несгибаемой шеи в двусмысленных позах. Песня: коллекция пуговиц в Лувре.

Шиллер, нарисованный Шадовым в 1804 г. в Берлине, где его пышно чествовали. Крепче, чем за этот нос, лицо не ухватить. Нос несколько оттянут книзу вследствие привычки во время работы тереть его. Дружелюбный, с немного впалыми щеками человек, бритое лицо делает его похожим на старика.

14 ЯНВАРЯ. Роман «Супруги» Берадта. Плохой язык. Все время внезапно зачем-то появляется автор, например: все были веселы, но присутствовал один, который не был весел. Или: и вот пришел некий господин Штерн (которого мы уже знаем до мозга его романых костей). Подобное есть и у Гамсуна, но там это столь же естественно, как сучки на дереве, здесь же это капают на действие, как модное лекарство на сахар. Внимание беспричинно приковывается к каким-то странным оборотам. Например: он трудился над ее волосами, трудился и снова трудился. Отдельные лица, хотя и не освещены новым светом, видны хорошо, настолько хорошо, что местами даже недостатки не мешают. Второстепенные персонажи большей частью безнадежны.

17 ЯНВАРЯ. Макс читал мне первый акт «Прощания с юностью». Как я могу такой, каков я сегодня, осилить это; целый год мне пришлось искать, прежде чем я нашел в себе подлинное чувство, и вот теперь, в кафе, поздним вечером, мучимый наплывами плохого, несмотря ни на что, пищеварения, должен сколь-нибудь соответственно восседать в своем кресле, внимая такому большому произведению.

19 ЯНВАРЯ. Так как я, кажется, вконец измотан – в последний год я был бодр не больше пяти минут, мне предстоит каждый день желать исчезнуть с лица земли или, хотя и это не дало бы мне ни малейшей надежды, начать все сначала малым ребенком. Внешне мне будет легче, чем тогда. Ибо в те времена я лишь смутно стремился к изображению, которое было бы каждым словом связано с моей жизнью, которое я мог бы прижимать к груди и которое сорвало бы меня с места. С какими муками (правда, ни в какое сравнение не идущими с нынешними) я начинал! Каким холодом целыми днями преследовало меня написанное! Но так велика была опасность и так ничтожны были даваемые ею передышки, что я совсем не чувствовал этого холода, что, конечно, в целом не очень-то уменьшало мое несчастье.

Однажды я задумал роман, в котором два брата враждовали друг с другом, один из них уехал в Америку, между тем как другой остался в тюрьме в Европе. Я только время от времени записывал строчку-другую, потому что сразу же уставал. Вот так однажды в воскресенье, когда мы были в гостях у бабушки с бабушкой и наелись особенно мягкого хлеба с маслом, которым там всегда угощали, я начал писать что-то про ту тюрьму. Вполне возможно, что я занялся этим главным образом из тщеславия и шуршанием бумаги по скатерти, постукиванием карандаша, рассеянным рассматриванием круга под лампой хотел возбудить в ком-нибудь желание взять у меня написанное, прочесть его и восхититься мною. В нескольких строчках был описан преимущественно коридор тюрьмы, главным образом тишина и холод; было сказано и сочувственное слово об оставшемся брате, ибо это был хороший брат. Возможно, меня охватило ощущение невыразительности описания, но с того дня я никогда больше не обращал особого внимания на такие ощущения, когда сидел за круглым столом в знакомой комнате среди родственников, к которым привык (моя робость была столь велика, что среди привычного я уже бывал наполовину счастлив), ни на минуту не забывая, что я молод и нынешний покой не про меня – мне предначертано великое. Дядя, любивший поиздеваться, наконец взял у меня листок, который я слабо попытался удержать, бросил на него беглый взгляд и вернул обратно, даже не посмеявшись; он сказал остальным, которые следили за ним глазами: «Обычная чепуха», мне же не сказал ни слова. Я, правда, остался на месте, по-прежнему склонившись над своим, стало быть, ничемным листком, но из общества я был изгнан одним пинком, дядин приговор отозвался в моей душе уже почти во всем действительном значении, в самом чувстве семьи мне раскрылся весь холод нашего мира, я должен согреть его пламенем, на поиски которого я еще только собирался отправиться.

19 ФЕВРАЛЯ. Когда я сегодня хотел подняться с постели, я свалился как подкошенный. Причина этого очень проста: я крайне переутомился. Не из-за службы, а из-за другой моей работы. Служба неповинно участвует в этом лишь постольку, поскольку я, не будь надобности ходить туда, мог бы спокойно жить для своей работы и не тратить там ежедневно эти шесть часов, которые особенно мучительны для меня в пятницу и субботу, потому что я полон моими писаниями, – так мучительны, что Вы себе представить не можете. В конечном счете – я знаю – это пустая болтовня, виноват только я, служба предьявляет ко мне лишь самые простые и справедливые требования. Но для меня это страшная двойная жизнь, исход из которой, вероятно, один – безумие. Я пишу это при ясном свете утра и наверняка не стал бы писать, не будь это настолько правдой и не будь столь сильна моя сыновья любовь к Вам.

Впрочем, завтра, наверное, уже опять все будет в порядке, и я приду на службу, где первыми услышу слова о том, что Вы хотите избавить от меня Ваш отдел.

Особенность моего вдохновения, охваченный которым я сейчас, в два часа ночи, – счастливейший и несчастнейший, – иду спать (может быть, оно, если я только смогу вынести мысль об этом, сохранится, ибо оно сильнее, чем когда-либо прежде), заключается в том, что я умею все, а не только нечто определенное. Когда я, не выбирая, пишу какую-нибудь фразу, например: «Он выглянул в окно», то она уже совершенна.

20 ФЕВРАЛЯ. Мелла Марс в кабаре «Люцерна». Остроумная трагедийная актриса, которая выступает в некоторой степени не на той сцене так, как трагедийные актрисы порой держатся за сценой. У нее усталое, плоское, пустое старое лицо, что у всех известных актеров является как бы разбегом. Говорит она очень резко, таковы и ее движения, начиная с согнутого большого пальца, который словно состоит из сухожилий вместо костей. Особая игровая способность ее носа подчеркивается переменным светом и углублениями играющих вокруг него мышц. Несмотря на постоянную молниеносность ее движений и слов, внимание она заостряет мягко.

Небольшие города тоже имеют небольшие окрестности для гуляющих.

Молодые, аккуратные, хорошо одетые юноши рядом со мной в галерее напоминают мне юность и потому производят отталкивающее впечатление.

Письма молодого Клейста, двадцатидвухлетнего. Отказался от военной карьеры. Дома спрашивают: ради какой же доходной профессии? – только о такой и могла быть речь. У тебя есть выбор – юриспруденция или камеральные науки. Но есть ли у тебя связи при дворе? «Вначале я несколько смущенно ответил отрицательно, но потом с тем большей гордостью заявил, что если бы у меня и были связи, я, по моим нынешним понятиям, стыдился бы рассчитывать на них. Усмехнулись; я почувствовал, что ответил опрометчиво. Следует остерегаться произносить вслух такие истины».

21 ФЕВРАЛЯ. Я живу здесь так, словно уверен, что буду жить второй раз; ну, например, как после неудачной поездки в Париж я утешал себя тем, что постараюсь вскоре снова побывать там. Передо мной – резко разделенные участки света и тени на тротуаре.

Какое-то мгновение я чувствовал себя бронированным.

Как мне чужды, например, мышцы руки.

Марк Генри – Дельвар. Порожденное пустым залом трагическое чувство у зрителя благотворно влияет на серьезные песни, веселым же мешает. – Генри конферирует, тем временем Дельвар за прозрачным, чего она не знает, занавесом приводит в порядок свои волосы. – При плохо посещаемых представлениях Вецлер, организатор, носит свою ассирийскую бороду, обычно совершенно черную, с проседью. – Хорошо поддаться такому темпераменту, это действует двадцать четыре часа, нет, не так долго. – Много одежды, бретонские костюмы, самая нижняя из нижних юбок – самая длинная, так что все это богатство можно издали посчитать. – Сперва Дельвар аккомпанирует, потому что хотят сэкономить на аккомпаниаторе, в зеленом платье с глубоким вырезом и мерзнет. – Парижские уличные выкрики. Разносчики газет резвятся. – Кто-то со мною заговаривает, но, прежде чем я перевожу дух, со мной уже прощаются. – Дельвар смешна, у нее улыбка старых дев, старая дева немецкого кабаре с красной шалью, которую она достает из-за занавеса – она делает революцию, стихи Даутендейя она читает тем же жестким несгибаемым голосом. Она была мила только вначале, когда сидела за роялем. – При песне «a Batginolles»[1] я почувствовал в горле Париж. Batginolles должен быть похож на пенсионера, равно как его апаши. Бруан сочинил для каждого квартала свою песню.

26 МАРТА. Теософские доклады д-ра Рудольфа Штайнера из Берлина. Риторический прием: обстоятельно излагает возражения противников, слушатель поражен, сколь сильны эти противники, слушатель встревожен, он полностью погружается в эти возражения, словно вокруг ничего более не существует, слушатель считает уже, что опровергнуть их вообще невозможно, и он более чем удовлетворен даже самым беглым изложением возможной защиты. Кстати, такой риторический эффект соответствует предписанию погрузить слушателей в благоговейное настроение. Долго рассматривается вытянутая вперед ладонь. Заключительная точка не ставится. Обычно каждая фраза, произносимая оратором, начинается с прописных букв, по мере продолжения она изо всех сил наклоняется к слушателю и в конце своем с заключительной точкой возвращается к оратору. Когда же заключительной точки нет, ничем не сдерживаемая фраза дышит слушателю прямо в лицо.

Доклад Лооса и Крауса.

Как только в какой-нибудь западноевропейской повести делается попытка охватить хоть некоторые группы евреев, мы сейчас уже почти по привычке сразу начинаем под или над изображенным искать и находить также решения еврейского вопроса. Но в «Еврейках» не дано такого решения, оно даже не предполагается, ибо как раз те персонажи, которые занимаются подобными вопросами, стоят в романе далеко от центра, там, где события разворачиваются быстрее, и, хотя мы еще можем за ними наблюдать, нам уже не представляется случая спокойно получить сведения об их стремлениях. Недолго рассуждая, мы находим в этом недостаток романа и чувствуем себя тем более вправе дать такую оценку, что теперь, когда существует сионизм, возможности решения еврейской проблемы разработаны так ясно, что в конце концов писателю нужно сделать лишь несколько шагов, чтобы найти подходящие для своего повествования решения.

Но данный недостаток вытекает еще из другого недостатка. В «Еврейках» нет нееврейских персонажей, уважаемых антагонистов, которые в других произведениях выманивают еврейское на свет Божий, так что оно возникает перед ними, вызывая изумление, сомнение, зависть, страх и наконец, наконец-то обретает уверенность в себе, во всяком случае, оно в противопоставлении с ними может подняться во весь свой рост. Именно этого мы желаем, другого растворения еврейских масс мы не признаем. На это чувство мы ссылаемся не только в данном случае, по меньшей мере в одном направлении оно всеобщее. Так, на пешеходной дороге в Италии нас необыкновенно радует мелькание ящериц перед нашими ногами, мы все время хотим наклониться к ним, но когда мы видим их у торговца, сотнями кишачими в больших банках, в каких обычно маринуют огурцы, то мы не знаем, куда деваться.

Оба недостатка объединяются в третий. «Еврейки» могут обходиться без того находящегося на переднем плане юноши, который обычно в повествовании привлекает к себе лучших и ведет их в прекрасном радиальном направлении к границам еврейского круга. Именно с тем, что роман может обходиться без этого юноши, мы не хотим согласиться, здесь мы ошибку больше чувствуем, нежели видим.

28 МАРТА. Художник Поллак-Карлин, его жена, два широких больших передних зуба заостряют большое, в общем-то, плоское лицо, госпожа надворная советница Биттнер, мать композитора, крепкий костяк которой от старости так выпирает, что она похожа на мужчину, по крайней мере когда сидит.

Отсутствующие ученики требуют столько внимания от д-ра Штайнера. Во время его выступления вокруг него так и теснятся покойники. Жажда знаний? Разве их, собственно, это интересует? Видимо, да. Спит два часа. С тех пор как однажды во время его выступления выключили электрический свет, он всегда носит с собой свечу. Он был очень близок к Христу. Он поставил в Мюнхене свою пьесу (ты можешь изучать ее целый год и все равно не поймешь), сам нарисовал костюмы, написал музыку. Он был наставником некоего химика. Симону Леви, торговцу мылом в Париже, Quai Morgue, он дал превосходные деловые советы. Тот перевел его произведения на французский язык. Поэтому надворная советница занесла в свою записную книжку: «Как достичь познания высших миров? У С. Леви в



Париже».

В Венской ложе есть теософ, шестидесяти пяти лет, необычайно толстый, прежде забубенный пьяница, который постоянно верит и постоянно впадает в сомнения. Говорят, было очень забавно, когда однажды на конгрессе в Будапеште во время ужина на Блоксберге в лунную ночь неожиданно пришел д-р Штайнер и он со страху спрятался со своей кружкой за пивной бочкой (хотя д-р Штайнер не рассердился бы).

Возможно, он и не самый великий современный исследователь духа, но лишь на нем возлежит долг объединить теософию с наукой. Поэтому он и знает все. Однажды в его родном селе появился ботаник, большой знаток оккультных наук. Он и просветил его. То, что я посетил д-ра Штайнера, дама истолковала мне как проявление памяти предков. Врач этой дамы, когда у нее обнаружили симптомы инфлюэнцы, спросил у д-ра Штайнера о лекарстве, прописал это лекарство даме и сразу же вылечил ее. Одна француженка попросилась с ним, сказав: «Au revoir». Он потряс за ее спиной рукой. Через два месяца она умерла. Еще один подобный случай в Мюнхене. Мюнхенский врач лечит красками, которые назначал д-р Штайнер. Он посылал также больных в пинакотеку с предписанием стоять, сосредоточившись, перед определенной картиной, в течение получаса или больше.

Гибель Атлантиды, гибель Лемурий, и теперь еще – гибель от эгоизма. Мы живем в решающее время. Опыт д-ра Штайнера удастся, если только духи зла не одержат верх. Он питается двумя литрами миндального молока и фруктами, растущими на возвышенностях. Со своими отсутствующими учениками он обращается посредством мысленных образов, которые он им направляет. Создав эти образы, он больше не занимается ими, но они быстро стираются, и он должен их снова создавать.

Госпожа Фанта: «У меня плохая память».

Д-р Шт.: «Не ешьте яиц».

Мое посещение д-ра Штайнера.

Одна женщина уже ожидает (на третьем этаже гостиницы «Виктория» на Юнгманштрассе), но настоятельно просит меня пройти раньше ее. Мы ждем. Приходит секретарша и обнадеживает нас. Я вижу его в конце коридора. Нешироко раскинув руки, он приближается к нам. Женщина говорит, что я пришел первым. И вот я иду позади него, он ведет меня в свою комнату. На его черном сюртуке, который во время вечерних выступлений кажется навоощенным (так он блестит своей чистой чернотой), теперь, при дневном свете (сейчас три часа пополудни), видна пыль, особенно на спине и плечах, и даже пятна.

В его комнате я пытаюсь выказать робость, испытывать которую не могу, тем, что нахожу самое неподходящее место для своей шляпы, кладу ее на маленькую деревянную подставку для шнуровки ботинок. Стол посередине, я сижу лицом к окну, он – с левой стороны стола. На столе бумаги с несколькими рисунками, напоминающими рисунки на докладах об оккультной физиологии. Номер «Анналов натурфилософии» лежит поверх небольшой стопки книг, кажется, кругом валяются еще книги. Но осматриваться нельзя, так как он все время старается заморозить посетителя своим взглядом. Когда же он не делает этого, нужно быть начеку, пока взгляд его снова не обратится на вас. Он начинает несколькими непринужденными фразами: «Вы ведь доктор Кафка? Давно ли Вы занимаетесь теософией?»

Но я произношу свою заготовленную речь:

«Я ощущаю, что большая часть моего существа тяготеет к теософии, но вместе с тем я испытываю перед нею сильнейший страх. Я боюсь, что она породит новое смятение, которое было бы для меня очень опасным, ибо мое нынешнее несчастье как раз и происходит из смятения. Смятение это вызвано вот чем: мое счастье, мои способности и всякая возможность приносить какую-то пользу с давних пор связаны с литературой. И здесь я переживал состояния (не часто), очень близкие, по моему мнению, к описанным Вами, господин доктор, состояниям ясновидения, я всецело жил при этом всякой фантазией и всякую фантазию воплощал и чувствовал себя не только на пределе своих сил, но и на пределе человеческих сил вообще. Но покоя, который, по-видимому, приносит ясновидящему вдохновение, в этих состояниях почти не было. Я заключаю это по тому, что лучшие из моих работ написаны не в подобных состояниях. Но литературе я не могу отдаться полностью, как это было бы необходимо, – не могу по разным причинам. Помимо моих семейных обстоятельств, я не мог бы существовать литературным трудом уже хотя бы потому, что долго работаю над своими вещами; кроме того, мое здоровье и моя натура не позволяют мне жить, полагаясь на – в лучшем случае – неопределенные заработки. Поэтому я стал чиновником в обществе социального страхования. Но эти две профессии никак не могут ужиться друг с другом и допустить, чтобы я был счастлив сразу с обеими. Малейшее счастье, доставляемое одной из них, оборачивается большим несчастьем в другой. Если я вечером написал что-то хорошее, я на следующий день на службе весь горю и ничего не могу делать. Эти метания из стороны в сторону становятся все более мучительными. На службе я внешне выполняю свои обязанности, но внутренние обязанности я не выполняю, а каждая невыполненная внутренняя обязанность превращается в несчастье, и оно потом уже не покидает меня. И вот к этим двум стремлениям, которых мне никогда не примирить, мне теперь прибавить еще третье – теософию? Не будет ли она мешать двум другим и не будут ли ей самой мешать эти другие? Смогу ли я, человек, столь несчастный уже и сейчас, довести всю троицу до конца? Я пришел, господин доктор, спросить Вас об этом, ибо чувствую, что, если Вы считаете меня способным, я действительно смогу принять все на себя».

Он слушал в высшей степени внимательно, по-видимому совершенно не наблюдая за мною, полностью поглощенный моими словами. Время от времени кивал, что он, вероятно, считал вспомогательным средством для большей сосредоточенности. Вначале ему мешал небольшой насморк, у него текло из носа, он беспрерывно возился с носовым платком, усиленно работая пальцем в глубине каждой ноздри.

27 МАЯ. Сегодня у тебя день рождения, но я даже не посылаю тебе обычной книги, ибо это было бы видимостью; в сущности, я ведь даже не в состоянии подарить тебе книгу. Только потому, что мне так необходимо сегодня хоть мгновение, будь то с помощью этой открытки, быть вблизи тебя, я пишу, и начал с жалобы я лишь затем, чтобы сразу быть узнаваемым.

15 АВГУСТА. Прошедшее время, когда я не написал ни слова, для меня потому было так важно, что в школе плавания в Праге, в

Королевском дворце и Чернощицах я перестал стыдиться своего тела. Как поздно я Наверстываю теперь, в двадцать восемь лет, свое воспитание, при забеге это назвали бы запоздалым стартом. И вред такого несчастья заключается, возможно, не в том, что не одерживаешь победы; последнее – лишь видимое, ясное здоровое зерно того в дальнейшем расплывающегося, становящегося безграничным несчастья, которое человека, намеревающегося обежать круг, загоняет внутрь этого круга. Впрочем, в это отчасти и счастливое время я заметил в себе также и многое другое и попытаюсь в ближайшие дни записать это.

20 АВГУСТА. Мной владеет несчастная вера, что у меня нет времени даже для малейшей хорошей работы, ибо у меня действительно нет времени для сочинительства; для того, чтобы расширяться во все стороны света, как мне необходимо. А потом я снова начинаю верить, что мое путешествие удастся, что я стану восприимчивее, если расслаблюсь посредством писания, и потому делаю новую попытку.

Читал о Диккенсе. Это так трудно, да и может ли сторонний человек понять, что какую-нибудь историю переживаешь с самого ее начала, от отдаленнейшего пункта до встречи с наезжающим локомотивом из стали, угля и пара? Но и в этот момент ты не покидаешь ее, а хочешь и находишь время, чтобы она гнала тебя дальше, то есть она гонит тебя, и ты по собственному порыву мчишься впереди нее туда, куда она толкает тебя и куда ты сам влечешь ее.

Я не могу понять и даже не могу поверить в это. Я лишь временами живу в маленьком слове, в его ударе я, например, на мгновение теряю свою ни на что не пригодную голову («удар» сверху). Первая и последняя буквы – начало и конец моего чувства пойманной рыбы.

24 АВГУСТА. Вместе со знакомыми сижу на открытом воздухе за столом кафе, за соседним столом женщина, она только что пришла, тяжело дышит под большими грудями и с разгоряченным, загорело блестящим лицом усаживается. Она откидывает голову назад, открывая сильный волосяной налет, она закатывает глаза кверху почти так, как, вероятно, иногда смотрит на мужа, который рядом с нею читает иллюстрированный журнал. Если бы можно было толковать ему, что рядом с женой в кафе можно читать в крайнем случае газету. Но никоим образом не журнал. В какой-то момент она вспоминает о своей полноте и слегка отодвигается от стола.

26 АВГУСТА. Завтра я должен ехать в Италию. Сейчас, вечером, отец не может заснуть от возбуждения, так как он полностью занят заботами о магазине и разбухенной ими болезнью. Мокрое полотенце на сердце, тошнота, удушье, вздыхает, расхаживая туда-сюда. Мать в своем страхе находит новое утешение. Он ведь всегда был так энергичен, он все преодолевал, и теперь... Я говорю, что беды с магазином могут продлиться всего каких-нибудь четверть года, а потом все должно уладиться. Он, вздыхая и качая головой, все ходит взад-вперед. Ясно, что мы, на его взгляд, не можем снять или хотя бы облегчить его заботы, но даже и на наш взгляд, даже в лучших наших желаниях заложено что-то от столь печального убеждения, что он сам должен заботиться о своей семье. Позже я думал: он лежит у матери, пусть он прижмется к ней, близкая родная плоть должна успокоить. Своим частым зеванием и своим, кстати, неаппетитным, ковырянием в носу отец вызывает небольшое, едва осознаваемое успокоение по поводу его состояния, чего он, когда здоров, вообще не делает. Отгла мне это подтвердила. Бедная мать хочет завтра пойти просить домовладельца.

Это стало уже традицией четырех друзей – Роберта, Самуэля, Макса и Франца – каждое лето или осенью использовать свой небольшой отпуск для совместного путешествия. В остальное время года их дружба большей частью состояла в том, что раз в неделю они вечером все четверо охотно собирались вместе, чаще всего у Самуэля, у которого, как самого состоятельного, была большая комната, рассказывали друг другу разные истории и умеренно пили пиво. Когда они около полуночи расходились, их рассказы никогда не были исчерпаны, поскольку Роберт был секретарем некоего объединения, Самуэль – служащим в коммерческом бюро, Макс – государственным чиновником, Франц – чиновником банковского предприятия, так что почти все, с чем каждый из них столкнулся в течение недели в своей профессии, с которой остальные трое были незнакомы и о которой следовало не только быстро поведать, но и дать обстоятельные объяснения, без чего она была попросту непонятна, было для них новым. Различность этих профессий заставляла каждого то и дело растолковывать остальным суть своей профессии, ибо, поскольку они были всего лишь слабыми людьми, толкования эти воспринимались ими поверхностно, но именно потому, да еще и потому, что они были добрыми друзьями, они то и дело их требовали.

К любовным историям, напротив, обращались редко, ибо если Самуэль и имел вкус к ним, то он не решился бы требовать, чтобы разговор определялся его интересами, хотя старая дева, приносившая им пиво, представлялась ему порой хорошим поводом. Но в эти вечера они так много смеялись, что Макс однажды по дороге домой сказал: этот вечный смех, в сущности, огорчителен, так как за ним забываешь о серьезных вещах, с которыми каждому ведь приходится так часто сталкиваться. Когда смеешься, думаешь, что для серьезного есть еще много времени. Но это неверно, ибо серьезное предъясвляет, конечно, более высокие требования человеку, и ясно ведь, что в обществе друзей человек скорее способен отвечать более высоким требованиям, нежели в одиночку. Смеяться надо на службе, потому что большего там не сделаешь. Это мнение было направлено против Роберта, он много работал в своем старом, благодаря ему молодевшем, художественном объединении и умел примечать комические вещи, которыми развлекал своих друзей.

Как только он начинал, друзья покидали свои места, окружали его или садились на стол и смеялись, в особенности Макс и Франц, так самозабвенно, что Самуэль переносил все стаканы на стоявший в стороне столик. Когда уставали от рассказов, Макс с обновленными силами садился за рояль и играл, Роберт и Самуэль усаживались возле него на скамеечке, Франц же, ничего не смысливший в музыке, один за столом рассматривал коллекцию видовых открыток Самуэля или читал газету. Когда вечера становились теплее и можно было держать окно открытым, все четверо вставали у окна и, положив руки на спину друг друга, смотрели на улицу, слабое движение на которой не нарушало их беседы. Время от времени кто-нибудь подходил к столу глотнуть пива, кто-то показывал на локоны двух девушек, сидевших внизу перед своим винным погребком, или на неожиданно появившуюся луну, пока Франц не говорил, что стало прохладно и надо закрыть окно.

Летом они иной раз встречались в общественном саду, садились за стол подальше, где темнее, время от времени поднимали стаканы и, сдвинув головы, за разговором едва замечали доносившиеся издали звуки духового оркестра. Потом ровным шагом, рука в руке они шли через парк домой. Двое по краям вертели тросточки или ударяли ими по кустам, Роберт предлагал петь, но пел потом один за всех четверых, второй посредине чувствовал себя в особенной безопасности.

В один из таких вечеров Франц, притянув двоих своих соседей поближе к себе, сказал, как хорошо быть вместе, он не понимает, почему они собираются только раз в неделю, ведь легко можно устроить так, чтобы встречаться если не чаще, то по крайней мере дважды в

неделю. Все согласилось, даже четвертый, который с краю плохо тихий голос Франца. Такое удовольствие наверняка стоит тех небольших усилий, которые время от времени от кого-нибудь потребуются. Францу казалось, будто штрафом за то, что он говорит за всех, явился его глухой голос. Но он не отступал. И если кто-нибудь однажды действительно не сможет прийти, то это будет во вред лишь ему и в следующий раз он сможет утешиться, но разве остальные должны из-за этого отказаться друг от друга, разве трое недостаточны друг для друга, а если придется – то и двое? «Конечно, конечно», – сказали все. Шедший с краю Самуэль отделился и пошел чуть впереди троих, потому что так было удобнее. Но это ему не понравилось, и он снова примкнул к остальным.

Роберт предложил:

– Мы будем собираться раз в неделю и учить итальянский. Мы же решили учить итальянский, ведь в прошлом году в той маленькой части Италии, где мы были, мы видели, что нашего итальянского хватает лишь на то, чтобы справиться о дороге, – помните, когда мы заблудились между оградами виноградников в Шампани. И прохожему надо было сильно напрячься, чтобы нас понять. Значит, нам нужно учиться, если мы в этом году снова хотим поехать в Италию. Тут уже ничего не поделаешь. А разве может что-то быть лучше, чем учиться вместе?

– Нет, – сказал Макс, – вместе мы ничему не научимся. Я это знаю так же точно, как и то, что ты, Самуэль, за совместную учебу.

– Еще бы! – сказал Самуэль. – Мы наверняка хорошо будем вместе учиться, я всегда сожалею, что мы в школе не учились вместе. А знаете ли вы, собственно, что мы знакомы всего лишь два года? – Он наклонился вперед, чтобы увидеть всех троих. Они замедлили шаг и ослабили руки.

– Но вместе мы ничего не учили, – сказал Франц. – И мне это очень нравится. Я ничего не хочу учить. А если нам надо учить итальянский, то пусть лучше каждый учит его отдельно.

– Я не понимаю, – сказал Самуэль. – Сперва ты хочешь, чтобы мы каждую неделю собирались, а потом снова не хочешь.

– Да иди ты, – сказал Макс, – я и Франц хотим только, чтобы нашим встречам не мешало учение и чтобы нашему учению не мешали встречи, и ничего больше.

– Ну да, – сказал Франц.

– Да и времени уже нет, – сказал Макс, – сейчас июнь, а в сентябре мы собираемся ехать.

– Потому-то я и хочу, чтобы мы вместе учились, – сказал Роберт и широко раскрыл глаза на тех двоих, что были против него. Когда ему возражали, особенно гибкой становилась его шея.

Думаешь, что описываешь его правильно, но это всего лишь приближенно и корректируется дневником.

Вероятно, это заключено в природе дружбы и сопровождает ее, как тень: один что-либо приветствует, другой о том же сожалеет, третий просто не замечает.

26 СЕНТЯБРЯ. Художник Кубин рекомендует как слабительное средство регулин, растолченную водоросль, которая в кишечнике разбухает, доводит его до вибрации, то есть действует механически в отличие от нездорового химического воздействия других слабительных на стенки кишечника.

Он встречался у Лангена с Гамсуном. Он (Гамсун) беспричинно ухмыляется. Во время разговора, не прерывая его, положил ногу на колено, взял со стола большие ножницы для бумаг и обрезал кругом на своих штанах бахрому. Одет плохо, но с какой-нибудь дорогой деталью, например галстуком.

Рассказы об одном мюнхенском пансионате для людей искусства, где живут художники и ветеринары (чья школа неподалеку) и где так безобразничают, что окна дома напротив, откуда все хорошо видно, сдаются в аренду. Чтобы удовлетворить этих зрителей, иной раз какой-нибудь пансионер вскакивает на подоконник и в обезьяньей позе выхлебывает свою суповую миску.

Производитель поддельных предметов старины, который добывается ветхости выстрелами из дробовика, сказал об одном столе: надо еще три раза попить на нем кофе, и тогда можно отправить его в Инсбрукский музей.

Сам Кубин: очень, но несколько однообразно, подвижное лицо, с одинаковым напряжением мышц он описывает самые разнородные вещи. Выглядит на разный возраст, рост, полнота – в зависимости от того, сидит ли он, встает, костюм на нем или пальто.

27 СЕНТЯБРЯ. Вчера встретил на Венцельплац двух девушек, чересчур долго задержал взгляд на одной из них, в то время как именно у другой, одетой в уютно мягкое коричневое складчатое широкое, спереди слегка раскрытое пальто, были, как оказалось слишком поздно, нежная шея и нежный нос, волосы, прекрасные на уже позабытый лад. – Старик в болтающихся штанах на Бельведере. Он свистит; когда я смотрю на него, он перестает; отвожу взгляд – он снова начинает; потом начинает свистеть и тогда, когда я на него смотрю. – Большая красивая пуговица, красиво пришитая на обшлаге рукава девичьего платья. Платье сидит тоже красиво, оно колыхается над американскими сапогами. Как редко мне удается что-нибудь красивое, а вот этой незаметной пуговице и ее необразованной портнихе удалось. – Рассказчица по дороге к Бельведеру, чьи живые глаза, вне зависимости от произносимых в данный момент слов, с удовлетворением обзрывают рассказываемую историю до самого конца. – Сильные полуповороты шеи крепкой девушки.

29 СЕНТЯБРЯ. Дневники Гете. Человек, не ведущий дневника, неверно воспринимает дневник другого человека. Когда он, например, читает в дневниках Гете: «11.1.1797. Целый день был занят дома различными распоряжениями», то ему кажется, что сам он никогда за весь день не делал так мало.

Путевые наблюдения Гете совсем иные, чем нынешние, потому что они велись из почтовой кареты и развивались проще, местность изменялась медленно, и потому за ней легче было следить человеку, даже незнакомому с этой местностью. Это было спокойное, воистину пейзажное мышление. Так как окрестность представлялась пассажиру кареты нетронутой, в ее натуральном виде, и проселочные дороги разделяли ее гораздо естественнее, чем железнодорожные линии, с которыми они соотносятся примерно так же, как реки с каналами, то это не требовало от созерцателя никаких усилий и он мог без особого напряжения систематизировать свои впечатления. Поэтому моментальных наблюдений мало, большей частью в помещениях, где иные люди сразу же полностью распахиваются, например австрийские офицеры в Гейдельберге; а пассаж о мужчинах в Визенхайме, напротив, ближе к описанию местности: «На них были синие сюртуки и белые жилеты, украшенные тканями цветами» (цитирую по памяти). Много написано о Рейнском водопаде в Шафхаузене, и вдруг посередине большими буквами: «Возникшие идеи».

Кабаре «Люцерна». Люция Кёниг выставляет фотографии со старыми прическами. Изношенное лицо. Иной раз ей кое-что удается достичь с помощью приподнятого снизу носа, поднятых рук и поворота всех пальцев. Тряпичное лицо. – Мимические шутки Лонгена (художник Питтерман). Действие, производимое явно без радости и все же задуманное не безрадостным, иначе его нельзя было бы производить ежевечерне, в особенности потому, что даже в момент изобретения оно было столь безрадостным, что не возникла сколь-нибудь удовлетворительная схема, которая сберегла бы достаточно частое включение всего человека. Красивый прыжок клоуна через кресло в пустоту боковой кулисы. Все в целом напоминает представление в частном обществе, где из дружеских чувств особенно сильно аплодируют трудному, незначительному номеру, чтобы, компенсируя неудачный номер шумными аплодисментами, получить нечто гладкое, закругленное. – Певец Вашата. Так плох, что теряешься от одного его вида. Но, поскольку он человек крепкий, он с какой-то звериной, наверняка только мною одним осознаваемой, силой кое-как удерживает внимание публики. – Грюнбаум действует своей якобы только мнимой безнадежностью своего существования. – Одис, танцовщица. Тугие бедра. Настоящая бесплотность. По мне, красные колени подходят лишь к танцу «Весеннее настроение».

30 СЕНТЯБРЯ. Позавчера девушка в соседней комнатке (Хелли Хаас). Я лежал на кушетке и слышал на грани полусна ее голос. Она казалась мне особенно плотно одетой, не только в свою одежду, но и во всю каморку, из одежд выступало только ее сформировавшееся, голое, круглое, сильное темное плечо, которое я видел в ванне. Одно мгновение мне казалось, что от нее идет пар и пар от нее заполняет всю каморку. Потом она стояла в корсаже пепельно-серого цвета, низ которого так отстоял от ее тела, что можно было сесть на него и пуститься вскачь.

Еще о Кубине. Привычка непременно в одобрительном тоне повторить последние слова собеседника, даже если из последующих собственных слов выясняется, что он вовсе с ним не согласен. Досадно. – Слушая его многочисленные рассказы, можно забыть, чего он стоит. Но вдруг тебе напоминают об этом, и ты пугаешься. Речь шла о том, что кафе, в которое мы хотели пойти, опасно; он сказал, что в таком случае он туда не пойдет; я спросил, боязлив ли он, на что он ответил, держа меня к тому же под руку: «Конечно, я молод и еще многое собираюсь сделать». – Весь вечер он часто и, на мой взгляд, совершенно серьезно говорил о моих и его запорах. Но около полуночи, когда я свесил руку с краю стола, он увидел часть моей руки и воскликнул: «Да вы в самом деле больны!». С этого момента он обращался со мной еще более обходительно и позднее помешал другим уговорить меня пойти в б.<ордель>. Когда мы уже попрощались, он крикнул мне вслед: «Ригулин!»

Тухольский и Цафрански. Берлинское произношение с придыханием, которое требует пауз в голосе, образуемых словечком «вишь». Первый из них – вполне цельный человек, двадцати одного года. От сдержанного и сильного размахивания тростью, заставляющего плечо по-юношески подниматься, до рассудительного довольства и пренебрежения к собственным писательским трудам. Хочет стать адвокатом, видит лишь небольшие препятствия к этому и одновременно – возможности их устранения; звонкий голос, мужское звучание которого после первого получаса говорения переходит как будто в девичье; сомневается, что способен позировать, но надеется, что ему в этом поможет большой жизненный опыт; наконец, боится, что знакомство с миром ввергнет его в мировую скорбь, что он замечал в пожилых берлинцах-евреях подобного ему склада, хотя пока он в себе этого совсем не ощущает. Скоро женится.

Рисуя или наблюдая, Цафрански, ученик Бернхарда, делает гримасы, как-то связанные с рисуемым. Напоминает мне, что я, со своей стороны, обладаю сильной способностью к превращениям, которую никто не замечает. Как часто мне приходится подражать Максу. Вчера вечером по дороге домой я, как зритель, мог бы принять себя за Тухольского. Чужое существо должно во мне проступить так четко и незримо, как спрятанное в картинке-загадке, в которой никогда ничего не найти, если не знать, что оно там спрятано. При этих превращениях мне особенно хочется верить в замутнение собственных глаз.

1 ОКТЯБРЯ. Вчера в Старо-Новой синагоге. Колнидре. Приглушенное биржевое бормотание. В вестибюле кружка с надписью: «Добрые подаяния усмиряют негодование». Храмоподобная внутренность. Три набожных, видимо, восточноевропейских еврея. В носках. С натянутым на голову молитвенным покрывалом склонились над молитвенником, стараясь стать как можно меньше. Двое плачут, только ли праздником тронутые? У одного, вероятно, больные глаза, он быстро прикладывает к ним сложенный носовой платок, чтобы сразу же снова приблизить лицо к тексту. Поется не собственным образом или главным образом само слово – из-за слов вытягиваются арабески из тончайшего плетения последующих слов. Маленький мальчик, не имеющий ни малейшего представления о целом и возможности ориентироваться, оглохший от шума, протискивается среди скученных людей, его толкают. Мнимый приказчик, молясь, быстро качается, что можно понять как попытку посылнее, хотя и невнятно, подчеркнуть каждое слово, голос он при этом щадит, да в этом шуме четкое сильное подчеркивание и не удалось бы. Семья владельца борделя. В Пинкасовской синагоге иудаизм захватил меня несравненно сильнее.

Позавчера в б.<орделе> Зула. Одна девушка, еврейка, с узким, вернее сказать, сбегавшим к узкому подбородку лицом, которое большая волнистая прическа как бы растрясает вширь. Три маленькие двери ведут изнутри дома в салон. Гости, как в караульном помещении, на сцене, к напиткам на столе едва притрагиваются. Плосколицая девица в неуклюжем платье, которое колышется лишь в самом низу, по шву. Некоторые одеты, как марионетки для детского театра, какие продаются на рождественском базаре, то есть с рюшами и блестками, которые едва пришиты и приклеены, так что одним рывком их можно отодрать, и они распадутся в пальцах. Хозяйка, с матово-белокурыми, туго натянутыми на, несомненно, отвратительные подкладки волосами, с остро свисающим носом, чья направленность находится в каком-то геометрическом соотношении с висячими грудями и строго подтянутым животом, жалуется на головную боль, вызванную тем, что сегодня, в воскресенье, такой большой тарарам, и он ничего не дает.

О Кубине. История о Гамсуне подозрительна. Такие истории можно тысячами рассказывать из его произведений как пережитые.

О Гете. «Возникшие идеи» – это всего-навсего идеи, которые вызвал Рейнский водопад. Это видно из одного письма к Шиллеру. Мимолетное наблюдение – «кастаньетный ритм детских деревянных башмаков» – произвело такое впечатление, так всеми воспринято, что нельзя себе представить, чтобы кто-нибудь, даже не зная об этом наблюдении, воспринял его как собственную оригинальную идею.

2 ОКТЯБРЯ. Бессонная ночь. Уже третья подряд. Я хорошо засыпаю, но спустя час просыпаюсь, словно сунул голову в несуществующую дыру. Сон полностью отлетает, у меня ощущение, будто я совсем не спал или сном был объят лишь поверхностный слой моего существа, я должен начать работу по засыпанию сначала и чувствую, что сон отвергает мои попытки. И с этого момента всю ночь часов до пяти я как будто и сплю, и вместе с тем яркие сны не дают мне заснуть. Я как бы формально сплю «около» себя, в то время как сам я должен биться со снами. Часам к пяти последние остатки сна уничтожены, я только грежу, и это изнуряет еще больше, чем бодрствование. Короче говоря, всю ночь я провожу в том состоянии, в каком здоровый человек пребывает лишь минуту перед тем, как заснуть. Когда я просыпаюсь, меня обступают все сновидения, но я остерегаюсь продумать их. На заре я вздыхаю в подушку, ибо всякая надежда на прошедшую ночь исчезла. Я вспоминаю о тех ночах, в конце которых выбирался из сна столь глубокого, словно был заперт в скорлупе ореха.

Страшным видением сегодня ночью был слепой ребенок, как будто дочь моей ляйтмерицкой тети, у которой вообще нет дочерей, а только сыновья, один из них однажды сломал себе ногу. Во сне существуют какие-то связи между этим ребенком и дочерью д-ра Маршнера, превращающейся, как я недавно заметил, из красивого ребенка в толстую, чопорно одетую маленькую девочку. Оба глаза слепого или плохо видящего ребенка прикрыты очками, левый глаз под довольно сильно выпуклым стеклом молочно-серого цвета, выпученный, другой глаз сидит глубоко и прикрыт вогнутым стеклом. Для того чтобы стекло сидело оптически правильно, необходимо было вместо обычной заложенной за ухо дужки применить рычажок, головку которого никак нельзя было прикрепить иначе, кроме как к скуле, так что от стекла к скуле спускается проволочка, уходящая в продырявленное мясо и кончающаяся на кости, из которой выступает другая проволочка, заложенная за ухо.

Вероятно, я страдаю бессонницей только потому, что пишу. Ведь как бы мало и плохо я ни писал, эти маленькие потрясения делают меня очень чувствительным, я ощущаю – особенно по вечерам и еще больше по утрам – дыхание, приближение захватывающего состояния, в котором нет предела моим возможностям, и потом не нахожу покоя из-за сплошного гула: он тягостно шумит во мне, но унять его у меня нет времени. В конечном счете этот гул не что иное, как подавленная, сдерживаемая гармония; выпущенная на волю, она бы целиком наполнила меня, расширила и снова наполнила. Теперь же это состояние, порождая лишь слабые надежды, причиняет мне вред, ибо у меня не хватает сил вынести теперешнюю мысль, днем мне помогает видимый мир, ночь же без помех разрезает меня на части. При этом я всегда думаю о Париже, где во времена осады и позже, до Коммуны, население северных и восточных предместий, прежде чужое парижанам, в течение месяцев, как бы толчками, подобно часовой стрелке, буквально с каждым часом все ближе придвигалось переулками к центру Парижа.

Мое утешение – с ним я и отправляюсь спать – в том, что я так долго не писал, что писание еще не могло занять свое место в моей нынешней жизни и потому оно должно – правда, при наличии определенного мужества – хотя бы некоторое время удаваться.

Я сегодня был настолько слаб, что даже рассказал шефу историю про ребенка. Теперь я вспоминаю, что очки, виденные во сне, принадлежат моей матери, сидящей вечером возле меня и во время игры в карты не очень приветливо поглядывающей на меня сквозь пенсне. Правое стекло ее пенсне – не помню, чтобы я раньше замечал это, – ближе к глазу, чем левое.

3 ОКТЯБРЯ. Такая же ночь, только уснул с еще большим трудом. При засыпании вертикально идущая через переносицу боль в голове, как при сильно сжатой лобной морщине. Чтобы быть потяжелее, а это, мне кажется, способствует засыпанию, я скрестил руки и положил кисти на плечи, так что я лежал, как навьюченный солдат. Снова сила моих снов, проникающих своими лучами даже в бодрствование перед засыпанием, не дает мне спать. Осознание моих поэтических способностей вечером и утром не поддается обозрению. Я чувствую себя раскрепощенным до основания и могу извлечь из себя, что только пожелаю. Это выманивание сил, которым потом не дают работать, напоминает мое отношение к Б. Тут тоже разлития, которым не дают истечь, они должны при отдаче сами себя уничтожить, но здесь – и в этом различие – речь идет о более таинственных силах и о моей жизни.

На Йозефплац мимо меня проехал дорожный автомобиль с тесно сидящей семьей. За автомобилем вместе с запахом бензина мне ударила в лицо воздушная волна из Парижа.

Диктуя на службе довольно длинное уведомление о несчастных случаях участковым управлениям, я, дойдя до конца, который должен был прозвучать повнушительнее, вдруг запнулся и не мог продолжать, а только уставился на машинистку Кайзер – она же, по своему обыкновению, особенно оживилась, задвигалась в кресле, стала покашливать, рыться на столе и тем самым привлекла внимание всей комнаты к моей беде. Искомый оборот приобрел теперь еще и то значение, что он должен был успокоить ее, и чем необходимей он становился, тем труднее давался. Наконец я нашел слово «заклеймить» и соответствующую ему фразу, но держал все это во рту с чувством отвращения и стыда, словно это был кусок сырого мяса, вырезанного из меня мяса (такого напряжения мне это стоило). Наконец я выговорил фразу, но осталось ощущение великого ужаса, что все во мне готово к писательской работе и работа такая была бы для меня божественным исходом и истинным воскрешением, а между тем я вынужден ради какого-то жалкого документа здесь, в канцелярии, вырывать у способного на такое счастье организма кусок его мяса.

4 ОКТЯБРЯ. Я неспокоен и язвительен. Вчера перед сном у меня в верхней части головы мерцал прохладный огонек. Над левым глазом уже прочно обосновалась давящая тяжесть. Когда я думаю об этом, мне кажется, что на службе я больше не смог бы выдержать даже в том случае, если бы мне сказали, что через месяц я стану свободен. И тем не менее я, как правило, выполняю на службе свои обязанности, вполне спокоен, если могу быть уверен, что шеф доволен мною, и не считаю свое положение столь ужасным. Впрочем, вчера вечером я намеренно сделался бесчувственным, ходил гулять, читал Диккенса, потом я немного оправился, у меня не было сил предаться грусти, которую я считаю оправданной и тогда, когда она кажется чуть отодвинутой вдаль, что дает мне надежду на лучший сон. Он и был глубже, но недостаточно глубок и часто прерывался. Я говорил себе в утешение, что зато снова подавил великое волнение,

возникшее во мне, что я не хочу терять власти над собой, как это раньше всегда бывало после таких периодов, что и послеродовые боли этого волнения не заставят меня лишиться четкого сознания, как то всегда бывало прежде. Может быть, я таким образом сумею найти в себе еще какую-то скрытую силу сопротивления.

Под вечер в темноте в моей комнате на диване. Почему-то требуется длительное время, чтобы распознать цвет, а потом в сознании что-то щелкает, и ты быстро уверяешься в этом цвете. Если на стеклянную дверь снаружи одновременно падает свет из передней и из кухни, то стекла почти донизу заливают зеленоватый, или, чтобы не обесценить четкого впечатления, лучше сказать, – зеленый свет. Если в передней свет выключить и останется только свет из кухни, то ближе к кухне стекло становится темно-голубым, другое беловато-голубым, настолько беловатым, что рисунок на матовом стекле (стилизованные маки, вьюнки, различные четырехугольники и листья) размывается. – Отбрасываемые снизу на стены и на потолок электрическим освещением улиц и мостов блики и тени беспорядочны, часть испорчены, они перекрывают друг друга, и их трудно проверить. В том-то и дело, что при установке электрических дуговых ламп внизу и при оборудовании комнаты не учитывается представление хозяйки о том, как в этот час с дивана будет выглядеть моя комната без собственного комнатного освещения. – Отбрасываемый проезжающей внизу электричкой отсвет на потолке беловатой туманностью съезжает, механически запинаясь, преломляясь по краю потолка, вдоль стены. – Глобус стоит в свежем полном отражении уличного освещения на комодке, ровно залитом сверху зеленым светом, он сверкает своей выпуклостью и выглядит так, будто свет для него слишком ярок, но сияние соскальзывает с его поверхности, оставляя коричневатое кожевидное яблоко. – Свет из передней наносит обширное блестящее пятно на стену над моей кроватью, с изголовья оно ограничено колеблющимся контуром, а в настоящий момент придавливает кровать, расширяет темные кроватиные стойки, поднимает потолок над кроватью.

5 ОКТЯБРЯ. Впервые после нескольких дней снова беспокойство, вызываемое даже самим этим писанием. Ярость по поводу моей сестры, которая входит в комнату и усаживается с книгой за столом. Подождать следующего малого повода, чтобы выпустить ярость наружу. Наконец она берет визитную карточку из ларца и ковыряет ею в зубах. С утихающей яростью, от которой в голове остается лишь острый пар, и наступающим облегчением и уверенностью начинаю писать.

Вчера вечером в кафе «Савой». Еврейское общество. – Госпожа Клюг, «мужская имитаторша». В кафтане, коротких черных штанах, белых чулках, в выступающей из черного жилета тонкошерстной белой рубашке, застегнутой спереди на шее пуговицей из крученых ниток и обхваченной широким, свободным, длинным воротником. На голове обтягивающая женские волосы, но используемая и в других случаях, носимая и ее мужем, темная, без полей, шапочка, над ней большая мягкая черная шляпа с высоко загнутыми полями. – Собственно говоря, я не знаю, что это за люди, которых представляют она и ее муж. Если бы я пожелал рассказать о них кому-то, перед кем не хочу обнаружить своего незнания, я увидел бы, что считаю их общинными служащими, служками в храме, известными лентяями, с которыми община примирилась, пригретыми по каким-либо религиозным причинам прихлебателями, людьми, которые вследствие их особенного положения как раз и находятся вблизи центра общинной жизни, вследствие своего бесполезного созерцательного бродяжничества знают множество песен, прекрасно осведомлены об отношениях между всеми членами общины, но вследствие же отсутствия всякой связи с трудовой деятельностью не умеют эти сведения использовать, людьми, которые являются евреями в особенно чистом виде, потому что живут только в религии, но без ее забот, бед и разума ее. Они, кажется, из каждого делают дурака, смеются сразу после убийства благородного еврея, продаются любому отщепенцу, танцуют, в восторге хватаясь за пейсы, когда разоблаченный убийца отравляет себя и взывает к Богу, и все только потому, что они легки, как перышки, под малейшим давлением оказываются на полу, они чувствительны, сразу же плачут с сухими лицами (выплакиваются в гримасах), но, как только давление прекращается, оказывается, что они лишены малейшего собственного веса, а потому сразу взмывают вверх. Поэтому они должны, вероятно, доставить много хлопот такой серьезной пьесе, как «Вероотступник» Латайнера, ибо они постоянно во весь рост, а часто и на цыпочках, обеими ногами торчат в воздухе впереди на сцене и не снимают напряжения пьесы, а разрезают его. Но серьезность пьесы выражается в таких решительных, взвешенных даже при возможных импровизациях, исполненных единого чувства словах, что даже если действие происходит только на заднем плане сцены, оно всегда сохраняет свое значение. Скорее всего, тут или там этих двоих в кафтанах подавят, что соответствует их натуре, но, несмотря на их распростертые руки и щелкающие пальцы, позади все равно виден убийца, который с ядом в желудке, хватаясь за свой чересчур широкий воротник, шатаясь, идет к двери. – Мелодии длинные, тело охотно отдается им. С их протяженностью хорошо согласуются покачивающиеся бедра, поднимающиеся и опускающиеся в ритме спокойного дыхания руки, прижатые к вискам ладони и старательное избегание прикосновений. Чем-то напоминает чешский танец слапак. – При некоторых песнях, при обращении «идише киндерлах»[2], иногда при взгляде на эту женщину на подиуме, которая притягивает к себе, потому что она еврейка, нас, слушателей, потому что мы евреи, без потребности в христианах или любопытства к ним, дрожь пробегает по моим щекам. Представитель правительства, который, за исключением, возможно, одного кельнера и двух стоящих слева от сцены служанок, является единственным христианином в зале, жалкий человек, у него тик лица, особенно поражена левая сторона, но и правая сильно задета, лицо стягивается и распрямляется с почти цадящей скоростью – я имею в виду легкостью – секундной стрелки, но и с ее регулярностью. Когда он проводит рукой по левому глазу, тик почти гасится. Из-за этого стягивания на лице, вообще-то очень худом, образовались новые маленькие свежие мускулы. – Талмудская мелодия точных вопросов, заклинаний или толкований: в одну трубу втекает воздух и уносит трубу с собой, зато к спрашиваемому из малых дальних истоков катится большой, гордый в целом, смиренный в изгибах винт.

6 ОКТЯБРЯ. Два старика на переднем плане сцены за длинным столом. Один из них оперся обеими руками о стол и повернул направо к сцене только лицо, чья обманчивая отечная краснота, обрамленная неровной четырехугольной спутанной бородой, грустно скрывает его возраст, в то время как другой, напротив сцены, откинув назад свое высушенное от старости лицо, опирается на стол лишь левой рукой, правую держит согнутой на весу, чтобы лучше насладиться мелодией, в такт которой подрагивают носки его башмаков и короткая трубка в правой руке. «Пой же, тателе[3], со мной», – призывает женщина то одного, то другого, слегка склоняясь к ним и поощрительно маня руками.

Мелодии словно созданы, чтобы подхватить каждого вскочившего человека и, не раздирая, объять его восторгом, раз уж не верится, что они этот восторг ему дарят. Эти двое в кафтанах так и тянутся петь, словно только этого и не хватает всему организму, а всплескивания рук, сопровождающие пение, со всей очевидностью свидетельствуют о наилучшем самочувствии человека в артисте. – Дети хозяина в углу какими-то детскими узами связаны с госпожой Клюг на сцене, они поют, и рты их между выпученными губами полны мелодии.

Пьеса. Зайдеман, старый еврей, направив все свои преступные инстинкты на эту цель, двадцать лет назад крестился и тогда же отравил

полю жену, подчинившись требованиям тоже креститься. С тех пор он всячески старался забыть жаргон, который невольно прорывается в его речи, в особенности поначалу, дабы слушатели этот жаргон все же заметили; он постоянно выражает отвращение ко всему еврейскому. Дочь свою он решил выдать за офицера Драгомирова, а она любит своего кузена, молодого Эдельмана, и в большой сцене она, неестественно выпрямившись, с каменной, лишь в талии преломленной фигурой, заявляет отцу, что твердо придерживается иудаизма, и весь акт до самого конца она презрительно смеется над причиненным ей насилием. (Христиане в пьесе: бравый польский слуга Зайдемана, который позднее способствует его разоблачению, бравый в первую очередь потому, что вокруг Зайдемана должны быть сконцентрированы все противоречия; офицер, которому пьеса уделяет мало внимания, исключая описание его долгов, потому что как благородный христианин он никого не интересует, равно как и возникающий позднее председатель суда, и, наконец, служитель при суде, чья злобность не выходит за рамки его служебных претензий и веселости обоих кафтаносителей, хотя Макс называет его погромщиком.) По каким-то причинам Драгомиров может жениться, лишь когда будут погашены его векселя, а они в руках старого Эдельмана, но последний, хотя вот-вот уедет в Палестину и хотя Зайдеман хочет оплатить векселя наличными, не поддается уговорам. Дочь держится перед влюбленным офицером гордо и хвалится своим иудаизмом, хотя она крещеная, офицер не знает, что делать, и со сплетенными руками беспомощно смотрит на отца. Дочь сбегает к Эдельману, она хочет выйти замуж за возлюбленного, пусть пока тайно, так как еврей по мирскому закону не имеет права жениться на христианке, а она без разрешения отца не может перейти в иудаизм. Приходит отец и видит, что без хитрости все будет потеряно, и формально дает свое благословение на этот брак. Все его прощают, даже начинают так его любить, словно они были не правы, даже старый Эдельман – он в особенности, хотя и знает, что Зайдеман отравил его сестру. (Этот пробел, вероятно, возник в результате сокращения, но, может быть, и оттого, что пьеса распространяется главным образом устно, от актера к актеру.) Благодаря примирению Зайдеман хочет прежде всего получить векселя Драгомирова. «Знаешь, – говорит он, – я не хочу, чтобы этот Драгомиров плохо говорил о евреях». И старый Эдельман отдает их даром, после чего Зайдеман подзывает его к портюере позади, якобы для того, чтобы что-то показать, и всаживает ему через шлафрок нож в спину. (Между примирением и убийством Зайдеман некоторое время на сцене отсутствовал, чтобы придумать этот план и купить нож.) Тем самым он хочет отправить молодого Эдельмана на виселицу, ибо подозрение должно пасть именно на него, и дочь будет свободна для Драгомирова. Зайдеман убегает, старый Эдельман лежит за портюерой. Появляется дочь в фате, под руку с молодым Эдельманом, одетым в молитвенный покров. Отец, как они видят, к сожалению, еще не пришел. Зайдеман приходит, излучая счастье при виде жениха и невесты. Тут появляется человек, возможно, Драгомиров.

8 ОКТЯБРЯ. Сам, возможно, просто кто-нибудь из актеров, и незнакомый нам детектив, который заявляет, что должен произвести обыск, ибо «в этом доме нельзя быть уверенным в своей безопасности». Зайдеман: «Дети, не беспокойтесь, это, конечно, ошибка, само собой разумеется. Все сейчас разъяснится». Находят труп Эдельмана, молодого Эдельмана отрывают от его возлюбленной и арестовывают. В продолжение целого акта Зайдеман с большим терпением и очень хорошо подчеркиваемыми репликами (да-да, очень хорошо. Но это неверно. Да, это уже лучше. Конечно, конечно) настаивает тех двух в кафтанах, как они в суде должны свидетельствовать о якобы многолетней вражде между старым и молодым Эдельманами. Их трудно раскачать, возникает масса недоразумений, так, при одной импровизированной репетиции они выступают перед судом и заявляют, что Зайдеман поручил им представить дело таким вот образом, – пока они, наконец, настолько вжиглись в эту вражду, что даже – и Зайдеман не может их удержать – в состоянии показать, как произошло убийство и как мужчина с помощью рогатины заколол женщину. Это уже больше, чем потребуются. Тем не менее Зайдеман более-менее доволен обоими и надеется с их помощью достичь хорошего исхода процесса. Тут для верующего слушателя, без всякого специального обращения к нему, поскольку это само собой разумеется, место отступающего писателя занимает сам Бог и карает злодея ослеплением. В последнем акте в качестве председателя суда появляется вечный Драгомиров-актер (в этом тоже сказывается пренебрежение к христианскому, один еврейский актер может запросто исполнять три христианские роли, и если он исполняет их плохо, тоже не беда) и рядом с ним в качестве защитника, с чрезмерно пышными волосами и усами, сразу узнаваемая дочь Зайдемана. И хотя узнают ее сразу, в интересах Драгомирова ее считают актерской заменой, пока к середине акта не постигают, что она замаскировалась, дабы спасти своего возлюбленного. Те двое в кафтанах должны давать свои показания каждый по отдельности, но это у них плохо получается, потому что они репетировали вдвоем. Не понимают они и литературный немецкий язык председателя, – правда, когда дело стопорится, ему помогает защитник, да и в остальном приходится ему подсказывать. Потом появляется Зайдеман, который и раньше пытался, дергая их за рукава, дирижировать теми в кафтанах, и своей беглой уверенной речью, своей понятливостью, своим правильным обращением к председателю суда производит, по сравнению с предыдущими свидетелями, хорошее впечатление, страшно противоречащее тому, что мы о нем знаем. Его показания довольно бессодержательны, он, к сожалению, мало что знает о деле. Но вот в лице последнего свидетеля, слуги, выступает не совсем осознающий это настоящий обвинитель Зайдемана. Он видел, как Зайдеман покупал нож, он знает, что в решающий момент Зайдеман был у Эдельмана, наконец, он знает, что Зайдеман ненавидит евреев, в особенности Эдельмана, и хотел заполучить его векселя. Те двое в кафтанах вскакивают и счастливы, что могут все это подтвердить. Зайдеман защищается как несколько сбивтый с толку человек чести. Тут речь заходит о его дочери. Где она? Разумеется, она дома и считает его невиновным. Нет, не считает, утверждает защитник и хочет это доказать, отворачивается к стене, снимает парик и предстает перед потрясенным Зайдеманом его дочерью. Карающей выглядит белизна верхней губы, когда она отрывает усы. Зайдеман принимает яд, чтобы избежать земной справедливости, признается в своих злодеяниях, но не столько перед людьми, сколько перед еврейским Богом, которого он теперь признает. Тем временем пианист заиграл мелодию, двое в кафтанах захвачены ею и пускаются в пляс. На заднем плане стоят соединившиеся жених и невеста, они, в особенности серьезный жених, подпевают мелодии по старому храмовому обычаю.

Первое выступление тех двоих в кафтанах. Они приходят с кружками для сбора денег на нужды храма в комнату Зайдемана, осматриваются, чувствуют себя неудобно, смотрят друг на друга. Ощупывают дверной косяк, не находят мезузы. Нет ее и на другой двери. Они не могут поверить этому, и то возле одной, то возле другой двери подпрыгивают и хлопают, как при ловле мух, поднимаясь на цыпочки и опускаясь, хлопают все снова и снова по самому верху косяка – сплошное шлепанье. К сожалению, все напрасно. За все время они не произнесли ни слова.

Сходство между госпожой Клюг и прошлогодней госпожой Вайнберг. У Клюг, возможно, чуть слабее и однообразнее темперамент, зато она красивее и приличнее. Неизменная шутка Вайнберг – толкать партнеров своим большим задом. Кроме того, рядом с нею была неважная певица, и мы ее совсем не знали.

«Мужская имитаторша», может быть, неправильное обозначение. Из-за того, что она торчит в своем кафтане, совершенно забываешь о ее теле. О нем напоминают лишь пожатие плеч и дергание спины, как то бывает при блошиных укусах. Рукава, хоть они и короткие, приходится то и дело подтягивать, зритель ожидает, что это принесет большое облегчение женщине, которой предстоит столько спеть и

по-талмудистски объяснить, и он уже и сам следит, чтобы это произошло.

Хочется видеть большой еврейский театр, ибо, возможно, постановка страдает из-за малочисленности персонала и плохого усвоения ролей. Хочется узнать и еврейскую литературу, которой, очевидно, предписана постоянная национальная боевая позиция, определяющая каждое произведение. То есть позиция, которой не обладает в такой всеобщей форме ни одна литература, даже литература самых угнетенных народов. Возможно, у других народов в периоды борьбы поднимается национальная, боевая литература, и благодаря восторженным слушателям национальный в этом смысле отблеск падает и на другие, более отдаленные произведения, как, например, «Проданную невесту». Здесь же, кажется, сохраняются только произведения первого рода, причем надолго.

Вид простой сцены, ожидающей актеров так же молча, как и мы. Поскольку своими тремя стенами, креслом и столом она должна обеспечить все события, мы от нее ничего не ждем, мы напряженно ждем только актеров и потому без сопротивления отдаемся пению за пустыми стенами, предваряющему спектакль.

9 ОКТЯБРЯ. Если я доживу до сорока лет, то, наверное, женюсь на старой деве с выступающими вперед, не прикрытыми верхней губой зубами. Верхние передние зубы фройляйн Кауфман, которая была в Париже и Лондоне, находят друг на друга, как ноги, которые мимолетно скрещивают в коленях. Но до сорока я вряд ли доживу, об этом свидетельствует, например, ощущение, будто в левой половине черепа у меня набухает что-то, на ощупь напоминающее внутреннюю проказу, и когда я отвлекаюсь от неприятностей и хочу только наблюдать это ощущение, оно напоминает поперечный разрез черепа в школьных учебниках или почти не причиняющее боли вскрытие живого тела, где нож, чуть холодея, осторожно, часто останавливаясь, возвращаясь, иной раз застывая на месте, продолжает отделять тончайшие слои ткани совсем близко от функционирующих участков мозга.

Сегодня ночью сновидение, которое я утром сам еще не считал хорошим, за исключением небольшой, состоящей из двух возражений комической сцены, вызвавшей небывалое удовольствие от всего сна, но ее я забыл.

Я шел – был ли Макс в самом начале при этом, я не знаю – по длинному ряду одно- и двухэтажных домов, как идут в транзитных поездах из вагона в вагон. Я шел очень быстро, может быть, потому еще, что иные дома были ветхи, и это особенно заставляло торопиться. Дверей между домами я не заметил, то была огромная анфилада комнат, и тем не менее можно было увидеть не только различие между отдельными квартирами, но и между домами. Возможно, это были сплошь комнаты с кроватями, мимо которых я проходил. В памяти у меня осталась одна типичная кровать, стоявшая слева от меня у темной или, может быть, грязной, мансардного типа косой стены, с невысокой стопкой постельного белья, со свисающим с него одеялом, вернее, грубой полотняной простыней, смятой ногами того, кто здесь спал. Мне было стыдно проходить через комнаты в то время, когда еще много людей лежали на кроватях, поэтому я ступал на цыпочках широкими шагами, чем надеялся каким-то образом показать, что прохожу вынужденно, стараюсь по возможности не мешать и передвигаюсь тихо, так что мое прохождение вовсе ничего не значит. Поэтому же я нигде в комнате не поворачивал головы и видел только то, что справа лежит к улице или слева – у задней стены.

Ряд жилищ часто прерывался борделями, через которые я проходил особенно быстро, хотя вроде ради них-то и выбрал этот путь, – так что, кроме их наличия, ничего не заметил. Но последняя из всех жилищ комната была опять-таки борделем, и здесь я остался. Стена напротив двери, в которую я вошел, то есть последняя стена всего ряда домов, была то ли из стекла, то ли вообще выломана, и, иди я дальше, я бы выпал. Вероятнее всего, она была выломана, ибо девицы лежали по краям пола. Четко видел я двоих на земле, у одной голова свешивалась через край на свежий воздух. Слева была крепкая стена, справа, напротив, не совсем целая, виден был двор внизу, хотя и не весь, обветшалая серая лестница вела вниз к нескольким отделениям. Судя по свету в комнате, плафон был такой же, как в других комнатах.

Я имел дело главным образом с той девицей, чья голова свисала, Макс – с той, что лежала слева от нее. Я оцупал ноги и стал размеренно сжимать бедра. При этом я испытывал такое удовольствие, что удивлялся, почему за такое развлечение, как раз самое прекрасное, платить еще не надо. Я был уверен, что я (только я один) обманываю мир. Потом девица, не перемещая ног, выпрямила верхнюю часть тела и повернулась ко мне спиной, которая, к моему ужасу, была покрыта большими сургучно-красными кругами с блекнущими краями и рассеянными между ними красными брызгами. Теперь я заметил, что все ее тело полно ими, что мой большой палец на ее бедре лежит на таких пятнах и на мои пальцы налипли эти красные частички будто раздробленного сургуча.

Я отступил назад, к группе мужчин, как будто чего-то ждавших у стены, возле лестницы, на которой происходило небольшое движение. Они ожидали, как стоят воскресным утром деревенские мужчины на ярмарке. Это и было воскресенье. Здесь-то и разыгралась комическая сцена, когда какой-то мужчина, которого я и Макс должны почему-то бояться, ушел, затем поднялся по лестнице, подошел ко мне, и, в то время как я и Макс со страхом ожидали от него чего-то ужасного, он задал мне смехотворный дурацкий простодушный вопрос. Потом я стоял и озабоченно смотрел, как Макс без боязни сидел в этой закуской где-то слева на полу и ел густой картофельный суп, из которого картофелины выглядывали, как большие шары, в особенности одна. Он вдавливал ее ложкой, а может быть, двумя ложками, в суп или просто перекачивал.

10 ОКТЯБРЯ. Написал для Течен-Боденбахской газеты софистическую статью за и против страхового общества.

Вчера вечером на Грабене. Навстречу мне идут три актрисы, возвращающиеся с репетиции. Так трудно быстро разобраться в красоте трех женщин, если хочешь к тому же увидеть еще двух актеров, которые идут за ними слишком размашистым, да еще и быстрым актерским шагом. Двое – левый из них, с молодежью жирным лицом, распахнутым широким пальто на плотной фигуре, достаточно характерен для обоих – обгоняют дам, левый – на тротуаре, правый – внизу по проезжей части. Левый снимает свою шляпу, взявшись за нее всеми пятью пальцами, высоко поднимает ее и выкрикивает (правый только сейчас спохватывается): «До свидания! Спокойной ночи!» Но если мужчины после обгона и приветствия разошлись в разные стороны, то приветствуемые дамы, видимо ведомые той, что ближе к проезжей части и кажется более слабой и рослой, но и более молодой и красивой, едва прервав коротким приветствием свой мирный разговор, уверенно продолжают путь. На мгновение все в целом показалось мне доказательством того, что здешние театральные отношения упорядочены и хорошо управляемы.

Позавчера у евреев в кафе «Савой». «Пасхальная ночь» Файмана. Временами мы лишь потому не вникали в действие (только что меня



осенилю понимание этого), что были слишком взволнованы, а не потому, что являлись только зрителями.

12 ОКТЯБРЯ. Вчера у Макса делал записи в парижский дневник. На полутемной Риттергассе – в осеннем костюме толстая теплая Рейбергер, которую мы видели только в летней блузе и тонком голубом летнем жакетике, в чем девушка с не совсем безупречной наружностью в конце концов выглядит хуже, чем раздетая. Тут-то и видны были по-настоящему ее крепкий нос на бескровном лице, чьи щеки надо долго щипать, прежде чем проглянет румянец, густой светлый пушок, скучившаяся на верхней губе железнодорожная пыль, забившаяся между носом и щекой, и немочная белизна в разрезе блузки. Сегодня же мы почтительно догнали ее, и, когда у дома с проходным двором на Фердинандштрассе я простился с нею, потому что был небрит и вообще выглядел убого, я потом испытывал легкие толчки расположения к ней. А когда я задумался почему, то мог лишь сказать себе: потому что она была так тепло одета.

13 ОКТЯБРЯ. Безыскусный переход гладкой кожи лысины к нежным складкам лба у моего шефа. Явная, очень легко поддающаяся подражанию слабость природы, на банкнотах такого не должно быть.

Описание Рейбергер я не считаю удачным, но оно, должно быть, было лучше, чем я думал, или же мое позавчерашнее впечатление от нее было столь неполным, что описание соответствовало ему или даже превосходило его. Ибо когда я вчера вечером шел домой, то вдруг вспомнил это описание, незаметно подменил первоначальное впечатление и счел, что видел Рейбергер лишь вчера, причем без Макса, так что приготовился рассказать ему о ней, именно такой, какой я здесь описал ее себе.

Вчера вечером на Шютценинзель коллег своих не нашел там и сразу ушел. Я привлек к себе некоторое внимание в своем пиджачке, со смятой мягкой шляпой в руке, ведь на улице было холодно, но здесь жарко от дыхания любителей пива, курильщиков и трубачей военного оркестра. Оркестр располагался не очень высоко, да иначе и не могло быть, ибо зал довольно низкий, и оркестр заполнял один конец зала до самых боковых стен. Музыканты, как подогнанные, были плотно втиснуты сюда. Это впечатление статости немного развеялось потом в зале, поскольку вблизи оркестра было довольно много свободных мест, а в центре зал был полон.

Болтливость д-ра Кафки. Два часа ходил с ним вокруг вокзала Франца-Иосифа, время от времени просил отпустить меня, от нетерпения переплетал руки и почти не слушал. Мне казалось, если человек, делающий в своей профессии что-то хорошее, так вживается в свои профессиональные истории, он становится невменяемым; он проникается сознанием своей дельности, от каждой истории тянутся нити, причем многие, он все их прослеживает, потому что пережил их, вынужден из уважения ко мне торопиться и многое опустить, кое-что я порущаю своими вопросами, наводящими его еще на что-то, показываю ему тем самым, как глубоко он влияет на мое мышление, в большинстве историй он играет благородную роль, на которую лишь намекает, благодаря чему опущенное кажется ему еще более значительным; и теперь он так уверен в моем восхищении, что может и поплакаться, ведь в самом своем несчастье, в своих бедах, своих сомнениях он достоин восхищения, его противники тоже люди дельные и заслуживают, чтобы о них рассказали; некая адвокатская контора, имеющая четырех нотариусов и двух шефов, занимается тяжбой, в которой он один противостоит всей конторе, неделями ведет переговоры с шестью юристами. Ему противостоит их лучший оратор, опытный юрист, верховная судебная палата на их стороне, ее решения якобы плохи, противоречат одно другому; в моих прощальных словах мелькает легкая тень защиты суда, и вот он начинает доказывать, что этот суд нельзя защищать, и снова надо вышагивать вверх-вниз по улице, я незамедлительно выражаю удивление по поводу недоброкачества суда, на что он заявляет, что иначе и быть не может, что суд перегружен, как же так и почему, ну ладно, мне надо идти, а вот кассационный суд лучше, а Высший административный суд еще намного лучше, и как же так и почему, наконец, меня не удержать больше, тогда он пытается заговорить о моих делах, ради которых я и пришел к нему (основание фабрики) и которые мы давно уже обговорили, он надеется таким путем задержать меня и снова увлечь своими историями. Я что-то говорю, но при этом недвусмысленно протягиваю руку для прощания и таким образом освобождаюсь.

Рассказывает он, впрочем, очень хорошо, в его рассказах смешивается правильная разветвленность письменных фраз и живость речи, как то часто бывает у таких жирных, черных, пока здоровых, среднего роста, возбужденных непрерывным курением евреев. Судебные выражения дают речи стержень, перечисляются параграфы, количество которых кажется бесконечным. Каждая история разворачивается с самого начала, приводятся диалоги, их буквально сотрясают персональные реплики, несущественное, о чем никто и не подумал бы, сперва упоминается, потом оно бегло проскальзывает, затем его отодвигают в сторону («один человек, как же его зовут, ах, это несущественно»), слушателя втягивают, спрашивают, а история тем временем уплотняется, иной раз слушателя спрашивают даже до изложения самой истории, которая его и интересовать-то не может, спрашивают, разумеется, без пользы, просто чтобы установить какую-то временную связь, вклиненные замечания слушателя вставляются – не сразу, это было бы досадно, однако скоро, но все же лишь в ходе рассказа – в нужное место, – это деловитая лесть, она как бы включает слушателя в самую историю, потому что дает ему совершенно особое право быть слушателем.

14 ОКТЯБРЯ. Вчера вечером в «Савое» – «Суламифь» А. Гольдфадена. В сущности, это опера, но всякую пьесу, которую поют, называют опереттой – мне кажется, уже одна эта мелочь говорит об упорном, чересчур поспешном, прямо-таки навязчивом, толкающем европейское искусство отчасти в случайном направлении, художественном стремлении.

Содержание: герой спасает девушку, которая заблудилась в пустыне («молю тебя, великий Всемогущий Боже») и, мучимая жаждой, бросилась в цистерну. Призывая в свидетели колодец и красноглазую дикую кошку, они клянутся друг другу в верности («моя дорогая, моя любимейшая, мой бриллиант, найденный в пустыне»). Пока Чингитанг, дикий слуга Абсолон (Пипес), увозит девушку, Суламифь (госпожа Чисдик), в Вифлеем к ее отцу, Абсолон совершает путешествие в Иерусалим, влюбляется там в богатую девушку Авигайль (Клюг), забывает Суламифь и женится. Суламифь ждет дома в Вифлееме своего возлюбленного. «Многие люди отправляются в Ерушалаим и возвращаются бешулим»[4]. «Он, такой благородный, хочет стать вероломным!» Взрывами отчаяния она добивается доверия к себе, решает прикинуться безумной, чтобы избежать замужества и получить возможность ждать. «Воля моя из железа, сердце свое я превращу в крепость». Разыгрывая годами безумную, она грустно и громко, со всеобщего вынужденного согласия, наслаждается воспоминаниями о возлюбленном, твердя лишь о пустыне, колодце и кошке. Своим безумием она сразу отпугивает трех женихов, с которыми ее отец Маноах смог мирно разойтись лишь благодаря устройству лотереи: Иоэла Гедони (Урих) – «я самый сильный еврейский герой», Авиданова, помещика (Р. Пипес), и больше всех страдающего толстопузого проповедника Натана (Лёви): «Отдайте мне ее, я умираю по ней». У Абсолон несчастье: дикая кошка до смерти загрызла одного его ребенка, другой ребенок падает в колодец. Он вспоминает о своей вине, признается во всем Авигайль – «умерь свои стенания». «Перестань разрывать мое сердце словами». «К

все правда, что я говорю». Некоторые мысли по поводу обоих возникающих и пропадают. Должен ли Абсолон оставить Авигаиль и вернуться к Суламифи? Суламифь ведь тоже заслуживает рахмонес[5]. Авигаиль наконец отпускает его. В Вифлееме Маноах сетует: «О, горе мне». Абсолон своим голосом вылечивает Суламифь. «Остальное, отец, я тебе потом расскажу». Авигаиль исчезает внизу в виноградниках Иерусалима. Абсолона же оправдывает его героизм.

После спектакля мы поджидали актера Лёви, которым я хотел полюбоваться в роли поверженного. Он еще должен был, как обычно, «анонсировать»: «Дорогие гости, от имени всех нас я благодарю вас за посещение и сердечно приглашаю на завтрашнее представление, на котором будет показано всемирно известное выдающееся произведение знаменитого... До свидания!» (уходит, помахивая шляпой.) Вместо этого мы увидели застрявший занавес, который попробовали чуть раздвинуть. Так продолжается довольно долго. Наконец его широко раздвигают, посередине он прихвачен булавкой, позади мы видим Лёви, который шагнул к рампе и, обратившись лицом к нам, к публике, руками обороняется от кого-то, нападающего на него снизу, пока ищущий опоры Лёви не срывает занавес вместе с его проволочным верхним креплением и предстает перед нами на коленях, обхваченный согнувшимся Пипесом (он играл дикаря), и, словно занавес еще закрыт, Пипес головой сталкивает его вниз в сторону от подиума. «Закреть занавес!» – кричит кто-то на почти полностью открытой сцене, на которой с жалким видом стоит госпожа Чиссик с бледным лицом Суламифи; взобравшись на столы и кресла, кельнеры кое-как приводят занавес в порядок, хозяин пытается успокоить правительственного чиновника, который думает только о том, как бы поскорее убраться отсюда, а эти попытки успокоить только задерживают его, из-за занавеса слышен голос госпожи Чиссик: «И мы еще хотим проповедовать со сцены публике мораль...»; союз еврейских канцелярских служащих «Будущее», который взял на себя режиссуру завтрашнего вечера и провел перед сегодняшним спектаклем общее собрание, решает в связи с этим происшествием в течение получаса созвать чрезвычайное заседание, чешский член союза предсказывает актерам полный крах вследствие их скандального поведения. И вдруг мы видим Лёви, вроде бы исчезнувшего, которого обер-кельнер Рубичек руками, а может, и коленками толкает к двери. Его попросту хотят выкинуть. Этот обер-кельнер, который прежде, да и потом, перед каждым гостем, в том числе и перед нами, стоял, как собака, со своим собачьим рылом, нависающим над большой, закрытой покорными боковыми складками пастью, вот теперь

16 ОКТЯБРЯ. Вчера напряженное воскресенье. Весь персонал заявил отцу об уходе. Благодаря добрым речам, сердечности, воздействию его болезни, его величю и прежней силе, его опыту, его уму он в общих и частных беседах добился возвращения почти всех работников. Играющий важную роль конторщик Франц попросил до понедельника времени для размышления, потому что он уже дал слово нашему управляющему, который уходит и хочет перетянуть весь персонал в свое новообразуемое дело. В воскресенье бухгалтер написал, что он все-таки не может остаться. Рубичек не освобождает его от данного слова.

Я еду к нему в Жижков. Его молодая жена, с круглощеким продолговатым лицом и маленьким толстым носом, какие никогда не портят чешские лица. Очень длинный, очень свободный цветастый, в пятнах, халат. Он кажется особенно длинным и свободным, потому что она суетится, чтобы меня приветствовать, правильно положить как последнее украшение альбом на стол и исчезнуть, позвав мужа. У мужа такие же, возможно, перенятые от него очень зависимой женой, суетливые движения, наклоненная вперед верхняя часть туловища сильно раскачивается, в то время как нижняя часть тела явно отстает. Знаешь человека десять лет, часто видел, мало обращал на него внимания, и вдруг тесно соприкасаешься с ним. Чем меньше успеха я имею своими чешскими уговорами (он ведь уже подписал контракт с Рубичеком, но в субботу вечером мой отец так ошеломил его, что он не сказал о контракте), тем более кошачьим становится его лицо. Под конец я с некоторой приятностью немного играю, с вытянутым лицом и сощуренными глазами молча осматриваюсь, словно не могу полностью раскрыть то, на что намекаю. Но не очень расстраиваюсь, когда вижу, что это мало действует, и вместо того чтобы услышать от него новые тона, мне приходится заново начать его уговаривать. Начался разговор с того, что на другой стороне улицы живет другой тулак[6], закончился он у дверей его удивлением по поводу моей легкой одежды при таком холоде. Примечательно для моих первых надежд и заключительной неудачи. Но я обязал его прийти после обеда к отцу. Аргументация моя местами чересчур абстрактна и формальна. Ошибкой было не позвать в комнату жену.

После обеда отправился в Радотин, чтобы удержать конторщика. Благодаря этому встретился с Лёви, о котором постоянно думаю. В вагоне: кончик носа старой женщины с почти еще молодой тугой кожей. Значит, на кончике носа и кончается молодость и там начинается смерть? Пассажиры икают, подрагивая шеей, растягивают рот в знак того, что железнодорожную поездку, состав пассажиров, их размещение, температуру в вагоне, даже номер «Пана», который лежит у меня на коленях и на который иные из них время от времени посматривают (как-никак, это нечто такое, чего они в купе не могли ожидать), они находят безупречными, естественными, не вызывающими опасений, думая при этом, что все могло быть гораздо хуже.

Расхаживаю взад-вперед по двору господина Хамана, собака кладет лапу на носок моего ботинка, который я качаю. Дети, куры, тут и там взрослые. Порой с любопытством выглядывает свешивающаяся с балкона или прячущаяся за дверью няня. Не знаю, кем я кажусь в ее глазах, равнодушным, пристыженным, молодым или старым, нахальным или привязчивым, держащим руки на животе или за спиной, мерзнущим или разгоряченным, любителем животных или коммерсантом, другом Хамана или просителем, кем кажусь участникам собрания, непрерывной цепочкой тянущимся из трактира в писсуар и обратно, высокомерным или смешным, евреем или христианином и т. д. Расхаживать, вытирать нос, листать «Пана», боязливо отводить взгляд от балкона, чтобы не увидеть его вдруг пустым, смотреть на живность, отвечать на чье-то приветствие, видеть сквозь окно трактира обращенные на оратора плотно и косо сгрудившиеся лица мужчин – все это помогает. Время от времени с собрания выходит господин Хаман, которого я прошу воздействовать на конторщика, поскольку он и привел его к нам. Черно-коричневая борода, закрывающая щеки и подбородок, черные глаза, между глазами и бородой темно окрашенные щеки. Он друг моего отца, я знал его еще ребенком, и представление о том, что он поджаривал кофе, делало его в моих глазах еще более темным и зрелым, чем он был.

17 ОКТЯБРЯ. Ничего не довожу до конца, потому что у меня нет времени и все во мне теснится. Если бы весь день был свободен и это утреннее беспокойство могло до полудня во мне расти, а к вечеру улечься, тогда я мог бы спать. А так этому беспокойству отводится не более часа в вечерние сумерки, оно немного усиливается, а потом подавляется и без пользы, губительно разрывает мне ночь. Долго ли я выдержу? И есть ли смысл выдерживать, разве у меня появится время?

Как только я вспоминаю анекдот – Наполеон рассказывает за столом в Эрфурте: «Когда я был еще простым лейтенантом в пятом полку... (Королевские высочества смущенно взглядывают друг на друга, Наполеон замечает это и поправляет себя)... Когда я еще имел

честь быть простым лейтенантом...», – у меня вздуваются жилы на шее от вполне понятной мне, помимо воли охватывающей меня самого гордости.

1 Батиньоль (фр.) – район Парижа.

2 Еврейские деточки (идиш).

3 Папенька (идиш).

4 С миром (идиш, от др. – евр. «бешалом»).

5 Милосердие (идиш).

6 Tulak – тунеядец, плут (чеш.).